



**Поль Лакруа
Фердинанд Серре**

**Средневековье и
Ренессанс. Том 2**

Поль Лакруа

Средневековье и Ренессанс. Том 2

«Автор»

2026

Лакруа П.

Средневековье и Ренессанс. Том 2 / П. Лакруа — «Автор», 2026

Том демонстрирует синтетический подход серии, где высокая схоластика соседствует с народными диалектами, а хирургия — с искусством миниатюры. Том является важнейшим источником по истории книжной культуры (от пергамента до миниатюры) и прикладных наук в их историческом развитии. Включение таких тем, как игральные карты и часовое дело, подчеркивает стремление создать всеобъемлющую панораму материальной и интеллектуальной жизни эпохи.

© Лакруа П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. – НАУКИ И ИСКУССТВА	5
ФИЛОСОФСКИЕ И СХОЛАСТИЧЕСКИЕ НАУКИ.	5
ХИМИЯ И АЛХИМИЯ.	30
ХИРУРГИЯ.	46
ФАРМАЦИЯ	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Средневековье и Ренессанс. Том 2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. – НАУКИ И ИСКУССТВА

ФИЛОСОФСКИЕ И СХОЛАСТИЧЕСКИЕ НАУКИ.

Во все времена история развития философских наук, собственно говоря, есть история развития человеческого разума. Формы, которые принимает философское изучение, то есть поиск первоначальных истин, неизбежно весьма разнообразны; но при всех этих формах один и тот же поиск стремится к одной и той же цели. Желание знать естественно для всех людей, говорит нам Аристотель в начале своей «Метафизики». Поскольку это потребность природы, наука, имеющая целью удовлетворение этой потребности, должна поэтому всегда быть в чести: она всегда в чести, действительно, но, в зависимости от времени, с большим или меньшим рвением, пылом и успехом. Поскольку ее предметом является познание принципов, которые должны служить правилом, как в логическом, так и в нравственном порядке, для различных энергий души, то успехи этой науки и успехи человеческого разума должны поэтому всегда быть одновременными и взаимосвязанными. Никогда эта взаимосвязь не была более очевидной и более совершенной, чем в Средние века.

В первые века, в ту эпоху, когда все традиции античности кажутся утраченными, мы, несомненно, встречаем несколько человек, чья жизнь и мнения должны были поведать нам ученые анналисты Брукер и Теннеман; но вся философия этих почти одиноких мыслителей сводится к небольшому числу более или менее темных афоризмов. После них появляются на сцене некие гордые, непокорные доктора, жаждущие быть названными учителями школы, которые ведут активную пропаганду в пользу некоторых безрассудных новшеств. Вокруг них стекается толпа, и вот начинают вновь закладывать основы науки. Когда же позднее мы видим новое общество, которое учреждается на основах нового права; когда мы становимся свидетелями прекрасного зрелища, которое являет нам в тринадцатом веке дух Средневековья, борющийся с варварским духом и уже одержавший столько же триумфов, сколько дал сражений, – мы в то же время видим философскую науку, занимающую все умы, которым она открывает неведомые пути; и мы уже не можем сосчитать число кафедр, одновременно возникающих повсюду, мы уже не можем составить список знаменитых докторов, которые приходят продолжать столь долго прерванное дело Платона и Аристотеля, освободить мысль, вновь завоевать ее древнюю область и даже – ибо эта слава принадлежит им – раздвинуть ее границы. Этой эпохе приходит на смену другая: Франциск I восседает на троне Франции; Лев X царствует в Ватикане: победа цивилизации окончательно провозглашена. Для мысли это не время покоя, а время наслаждений; она бежит от трудных троп, усеянных столькими препятствиями, которые школа называла тривиумом и квадравиумом, и просит воображение услаждать ее своими прихотями. Что же становится тогда с философией? Это уже не наука, которую стараются приобрести тяжкими трудами; это искусство, которое культивируют ради доставляемого им удовольствия.

Таковы фазы, которые должна пройти философия в этот период своей истории. Когда этот период заканчивается, с другой философией начинается современная эра. Так идут дела в этом мире: последовательность усилий, борьбы и прогресса.

§ 1. От возрождения словесности на Западе до конца двенадцатого века.

Употреблять весьма напыщенный термин «возрождение словесности» для слабого подъема, который приняли занятия, когда, после последних потрясений варварского нашествия, несколько докторов внезапно появились среди руин, – значит придавать слишком много зна-

чения. Это будет, если угодно, первый признак возрождения. Среди учителей того времени мы назовем прежде всего Марциана Капеллу, автора «Сатурналий». Он обладал умом, малым вкусом и еще меньшей ученостью. Не нужно искать у него доктрины; он даже не подозревает, что это может быть; но в его книге мы находим разделение обучения, которое было принято Кассиодором, Исидором Севильским, чтобы затем быть переданным основателям наших первых школ и сохраняться на протяжении всего Средневековья: это различие семи свободных искусств.

Не будем дольше останавливаться на Кассиодоре; пусть нам будет достаточно сказать, дабы почтить его память, что во времена, когда Церковь скорее препятствовала, чем поощряла возобновление занятий, он был монахом и литератором. Исидор Севильский, живший после него, в седьмом веке, лишь повторял определения. Беда Достопочтенный нашел кое-что большее, но без особого понимания, куда это может привести. Конечно, это не славное начало для средневековой философии.

Однако вот и другие доктора. Откуда они пришли? Неизвестно точно; но считается, что они получили сокровищницу науки в весьма отдаленной школе, на земле, существование которой было неизвестно варварам. Там, в дни бурь, укрылись бы несколько человек, воспитанных в великих школах Галлии и Бретани, которые сохранили бы традицию высших занятий и уберегли от разорения самые знаменитые памятники древней философии. Ученые нашего времени все еще пытаются обнаружить текст, который позволил бы им достоверно установить, был ли этот приют науки в Шотландии или же в Ирландии. Как бы то ни было, оттуда спустились на континент в девятом веке Климент и Иоанн Скот Эриугена, оба преподававшие во Франции, в дворцовой школе, недавно основанной под покровительством Карла Великого и под руководством Алкуина. Климент был грамматиком; Иоанн Скот – философом. Какова его философия? Философия Парменида, прокомментированная одним из последних учеников Александрийской школы. Когда после чтения того, что осталось от Алкуина, Эйнхарда и их современников, открываешь книгу «О разделении природ», то сперва поражаешься изумлением и спрашиваешь себя, какую странную фигуру должен был представлять при дворе Карла Лысого этот человек, который разнообразием своих познаний, свободой своего ума, мужественной силой своего гения снискал себе, даже в наши дни, страстных почитателей. У нас есть основания полагать, что из его слушателей меньшая часть могла его понимать. Также он не оставил непосредственных учеников. Это очаг света, появляющийся внезапно среди ночи и гаснущий без следа.

Поспешим сказать, что если современники Иоанна Скота слушали его с большим удивлением, чем пользой, это не было большим несчастьем. Доктрина трактата «О разделении природ» есть, если можно так выразиться, замкнутая доктрина; это последнее слово философской секты. Чтобы же образование умов шло регулярным путем, было необходимо некоторое время удерживать их на началах науки. Алкуин, обладавший познаниями более разнообразными, чем глубокими, хорошо начал это скромное обучение. Его продолжил с еще большим успехом его любимый ученик, будущий архиепископ Майнца, Рабан Мавр. Покинув школу в Туре, Рабан поспешил вернуться на родину. Какие же сокровища науки он собрал на чужом берегу, и чему можно было научиться у одного из главных учеников знаменитого Алкуина? Все его юношеские товарищи собрались вокруг него, умоляя говорить. Он ничего другого и не хотел, и, поскольку монахи Фульды призвали его в свой дом, он там стал давать публичные уроки. Эти уроки имели большой успех, и школа Фульды вскоре стала рассадником молодых докторов, которые затем разошлись по Германии, распространяя учение своего учителя. Эта доктрина не есть доктрина Иоанна Скота, и мы должны изложить ее в нескольких словах, чтобы показать, как с самого открытия школ старые проблемы были вновь поставлены на повестку дня и по-разному решены. Иоанна Скота следует причислить к самым решительным платоникам; он с презрением отвергает экспериментальный метод; он не признает иного средства познания, кроме внутреннего видения или экстаза. Куда это его приводит? К пропасти,

в которой поглотились многие энтузиасты и которая все еще открыта, чтобы принять других. Эта пропасть – пантеизм. Рабан Мавр действует совершенно иным образом: он не мечтает, он наблюдает; он не спрашивает у чистого разума, что есть истина, он придает большое значение понятиям, приходящим извне; и вместо того чтобы слепо бросаться навстречу заблуждению, он вовремя приостанавливает свое суждение, обсуждает вероятное и невероятное и останавливается лишь на том, что ему ясно доказано. Это перипатетический метод. Верный принципам этого метода, Рабан Мавр начинает науку о сущем с определения субстанции; и то, что он называет субстанцией, – это не универсальное целое пантеистов, а вот это, то, каждый из объектов, который в природе составляет индивидуально организованное целое. Таковы предпосылки номинализма.

Вот, таким образом, с самого возрождения философского преподавания образуются две партии, высказывающиеся за два противоположных утверждения. Мы разовьем позже и лучше разьясим то и другое из этих утверждений; пусть нам будет достаточно в данный момент отметить их расхождение.

Из этого расхождения родились схоластические споры. Говорят, что эти бури поднялись по поводу одной фразы Порфирия: это верно; но, когда рассматриваешь расположение ума и различные склонности собеседников, убеждаешься, что они бы все равно поссорились из-за того же вопроса, даже если бы Боэций не познакомил их с «Введением» Порфирия. В философию нельзя вступить, не переступив эту ступень: определение субстанции; и, как справедливо заметил г-н Руайе-Коллар, к этому определению могут быть сведены системы, кажущиеся самыми обширными и сложными.

Не будем предполагать, когда нам говорят о схоластике, что речь идет об особой доктрине. Если в наши дни термин «схоластика» употребляется как существительное, то посредством эллипсиса. В тринадцатом веке этот термин употреблялся только как прилагательное, для обозначения той или иной науки, изложенной систематическим образом для употребления в школах; так, у нас есть трактаты по схоластической философии, теологии, арифметике и даже истории. Не нужно искать дальше объяснения этого слова. Схоластическая философия – это просто философия, преподаваемая в школах Средневековья. Однако в этих школах, как и в школах античности, все доктрины проявлялись сами собой, согласно естественному ходу вещей. История схоластики, следовательно, есть не что иное, как история споров, которые велись между главами различных партий со дня рождения школ до часа их упадка.

Платон, Аристотель, александрийцы уже предложили все решения, которые будут даны на вопрос о субстанции, или сущем, нашими докторами Средневековья; но, как Порфирий, казалось, объявлял в своем «Введении к Категориям», ни решение Платона, ни Аристотеля, ни александрийцев не было окончательно принято ученой античностью. Поэтому необходимо было новое обсуждение. Это обсуждение занимало всю школу примерно пять веков и завершилось триумфом перипатетического решения, которое было принято и Бэконом, и, с некоторыми оговорками, Декартом. Энциклопедисты, следовательно, совершали серьезную ошибку, когда они прерывали преемственность философов смертью Прокла, чтобы возобновить ее с шестнадцатого века. Какими бы ни были услуги, оказанные античности Платоном и Аристотелем, ни тому, ни другому не удалось внедрить в умы мнение, всеобщим согласием принятое о природе сущего, и нет основы ни для естественных наук, ни для нравственных наук, пока еще обсуждается эта проблема. Наши схоластические доктора исчерпали это обсуждение, и, когда оно было исчерпано, можно было начать строить на твердой почве здание современной науки. Это был главный результат их волнений, их трудов, их философии. Разве этого недостаточно, чтобы это учитывали? Добавим, что следует воздавать хвалу гению, даже когда его бесплодные труды не заслуживают признания, и что самобытные мыслители, такие как Абельяр, Альберт Великий, святой Фома, Дунс Скот и Уильям Оккам, сами вписали себя в число великих умов, имеющих на эту славу самые законные права.

Но пределы, налагаемые на эту работу, не позволяют нам уделить много места общим соображениям. Мы сказали, каким было начало схоластического спора; мы должны теперь проследить его историю. Среди слушателей Рабана был Хаймон, позднее ставший епископом Хальберштадта. Но прежде чем быть возведенным на эту кафедру, Хаймон преподавал диалектику в школе Фульды, и среди его учеников нам называют Хейрика Осерского. Когда тот вернулся на родину, он поспешил созвать всю бургундскую молодежь в аббатство Сен-Жермен и начать публичные лекции. Как и его учитель Рабан, Хейрик – номиналист; он не допускает, чтобы собирательные имена могли приниматься как обозначающие субстанции, и утверждает, что они соответствуют просто понятиям. Если исследовать, на чем основывается законность этих понятий, Хейрик без колебаний заявляет, что в общих идеях нет ничего произвольного, что они образуются естественно, то есть необходимо, в интеллекте, и что интеллект есть определенное место идей, как внешний мир есть место индивидуальных вещей. Это, конечно, не доказательства; их мало у диалектиков десятого века: это по крайней мере определения. Однако определения Хейрика решительно перипатетические, или, другими словами, номиналистические. Самым знаменитым из его учеников был Реми Осерский, который, согласно хронистам, первым публично преподавал семь свободных искусств в городе Париже. Каково было мнение Реми по спорному вопросу? Мы нашли его после некоторых исследований в рукописных глоссах, носящих его имя. Реми не менее искренен, чем его учитель, и высказывается не с меньшей уверенностью; но он принадлежит к другой партии. Когда его спрашивают, что есть объект науки, он отвечает, что это сущее; когда затем его призывают сказать, что это за сущее, он заявляет, с самыми решительными платониками, что первая из субстанций в порядке порождения есть универсальная сущность, и что в лоне этого великого целого индивидуальные существования суть чистые акциденции. Имя, подходящее этой доктрине, – то, которое Бейль дает доктрине Гийома из Шампо: это неразвитый Спинозизм. После Реми Осерского нужно поставить Герберта из Орияка, самого ученого, самого значительного доктора десятого века, носившего тиау под именем Сильвестра II. Герберт принадлежит к той же секте, что и Реми; но, раз вступив на путь, ведущий в страну химер, он не остановился, как монах из Осера, на той стадии, что называется реализмом в физическом отношении, то есть на тезис об универсальной сущности. За пределами природных вещей, в области метафизики, Платон видел очами духа другой мир, населенный мириадами типов, форм или духовных сущностей, которым он приписывал некоторое участие в порождении чувственных вещей: посвященный латинскими Отцами в эту теорию, Герберт ее принял и, даже не беспокоясь изменить ее мирские термины, воспроизвел ее как последнее слово мудрецов о происхождении и причине сущего.

У нас уже есть предпосылки всех схоластических систем, и нам остается лишь услышать их развитие. Эти системы являются воспроизведением, в самых разнообразных формах, трех основных тезисов. Первый, тезис об универсалии *ante rem* (до вещи), состоит в том, чтобы реализовать в свехлунном мире все общие понятия, которые дух собирает от объектов, и утверждать, что эти баснословные сущности суть одновременно *principia essendi* (начала бытия) и *principia cognoscendi* (начала познания), то есть способствуют, с одной стороны, порождению всех индивидуальных субстанций, а с другой стороны, проникая в человеческий разум своими таинственными лучами, открывают ему причину, природу и цель вещей. Это чистая доктрина Платона о вещах. Это чистая доктрина Платона, согласно Аристотелю, Тертуллиану, Скалигеру и последнему толкователю «Тимея», г-ну Анри Мартену. Она была вновь введена в честь с самого открытия школ Иоанном Скотом Эриугеной и монахом Гербертом. Поспешим сказать, что чаще всего ту же самую мысль представляют в форме, менее возмущающей здравый смысл. Тогда не говорят, что начала вещей, иначе называемые высшими идеями, постоянные образцы, существуют вне божественного интеллекта, рассматриваемого как свободный от всякой определенности; но предполагают, что этот интеллект, действующий, как наш, посредством определенных способностей, сам есть место, родина, или, как еще говорят, мастерская образцовых

форм. Плутарх, Плотин и Виссарион утверждают, что таково было мнение Платона. У нас нет досуга возобновлять этот спор: пусть нам будет достаточно заметить, что отделенные от божественного ума или помещенные в этот ум, эти идеи всегда рассматриваются, в том и другом толковании, как сущности рода субстанции. В этом качестве это универсалии *ante rem*. – Второй тезис – тезис об универсалии *in re* (в вещи). Мы спустились из области облаков: речь идет о том, чтобы исследовать, что в этом мире соответствует определению субстанции. Перипатетическое мнение таково, что всякая субстанция индивидуальна; что индивиды имеют между собой сходства, естественные соответствия и что эти соответствия имеют своим необходимым следствием отношения физического, нравственного, политического и т.д. порядка. В противоположной школе утверждают, что сама основа бытия есть то, чем индивиды обладают сообща, и что индивидуальные различия суть чистые акциденции. Так, универсалия по преимуществу, то есть *totum rerum*, целое вещей, есть собственно субстанция; эта субстанция, единственное, одинокое сущее, акцидентально принимает различные формы, которые, не изменяя ее сущности, составляют роды, виды и, на последней ступени бытия, индивидов. У древних Парменид не отступил перед крайними следствиями этой доктрины; у современных она получила имя Спинозы: мы только что видели, как ее предлагал Реми Осерский. – Наконец, третий тезис – тезис об универсалии *post rem* (после вещи). В этом пункте на мгновение все приходят к согласию. Каково бы ни было исповедуемое мнение о способе бытия универсалии, взятой как существующая до вещей или в вещах, все единогласно признают, что человеческий разум собирает из рассмотрения вещей некоторые общие идеи, которые служат правилом для всех его суждений. При таком положении, вся дискуссия не закрыта по поводу природы универсалии *post rem*; но, по крайней мере, в один голос объявляют, что эта универсалия существует определенным образом и что все собирательные имена, употребляемые в речи, имеют для разума определенное значение.

Долгое время начинали так называемую схоластическую историю со святого Фомы; позднее заподозрили, что Абельяр, возможно, заслужил быть включенным в число философов; более новые и любопытные исследования позволили установить, что уже с конца десятого века школа не была незнакома ни с одним из трех великих тезисов, вокруг которых методически группируются все спорные вопросы. Это то, что мы должны были сначала признать: пойдем теперь к другим докторам.

Мы не колеблясь причисляем к номиналистам того Беренгара Турского, который был осужден Церковью за то, что использовал все ресурсы своей диалектики для борьбы с тезисом о реальном присутствии в Евхаристии. С тех пор как гг. Фишеры обнародовали его трактат «О священной вечере», не может быть более неопределенности в этом отношении: Беренгар был лишь дерзким толкователем «Категорий». Он встретил много противников, и в решающий момент большинство его сторонников его покинуло. Приговор, вынесенный против него, пошел на пользу реализму; но, как один избыток всегда влечет другой, реакционный реализм преследователей Беренгара вскоре сам скомпрометировал Церковь и веру своей грубостью и нелепостью. Это вызвало живую, острую критику каноника Росцелина.

Святой Ансельм ответил ему. Доктрина святого Ансельма менее философична, чем мистична. В философии он был достаточно слепым реалистом, чтобы утверждать, что совокупность индивидов, принадлежащих к тому или иному виду, составляет то, что безразлично называют природой, субстанцией, неделимым целым. Его теология, солидарная с теми же заблуждениями, однако принесла ему гораздо больше чести, поскольку Церковь включила его в число святых докторов. После долгого изучения приняли выводы святого Ансельма и отвергли его доказательства. Но это изучение произошло весьма поздно, и, возможно, святой Фома первым осмелился открыто оспорить ценность знаменитого довода, носящего имя святого архиепископа Кентерберийского. Этот довод имел в двенадцатом веке величайший

успех; и поскольку номинализм скомпрометировал себя в глазах ортодоксии, противоположная система некоторое время преобладала в школе, так же как и в Церкви.

Одон Камбрезийский и Гильдеберт Лаварденский – реалисты. После них является Гийом из Шампо и приходит поставить на службу тому же делу более просвещенную диалектику. Дата его рождения неизвестна; он умер около 1120 года, занимая епископскую кафедру в Шалон-сюр-Марн, после преподавания в различных школах Парижа, в Нотр-Дам и Сен-Виктор. Все рассуждение Гийома из Шампо имело своим предметом природу универсалии *in re*. Рабан Мавр, Хейрик и другие доктора их партии отказались допустить эту универсалию в качестве субстанции: Гийом из Шампо утверждает, что она есть первая и собственно субстанция, и что индивиды суть, для всякого сколько-нибудь тонкого философа, привходящие модусы, простые феномены, проявляющиеся, чтобы вскоре исчезнуть, на поверхности этого единственного и неделимого субъекта. Таким образом, нет личности, а следовательно, нет и того, что делает человека свободным и ответственным. Вот, что касается моральной философии, следствия этой системы. Вот теперь чему она учит естественную философию: нет наблюдения, нет анализа; к чему столь любопытно исследовать, как порождаются и разлагаются тщетные акциденции, которые не обладают сами по себе первыми условиями бытия? Важно лишь знание того, что называют вещами в себе, и это знание нельзя приобрести эмпирическими процедурами; его нужно требовать от чистого разума.

Едва Гийом из Шампо изложил эту соблазнительную теорию, как поспешили воздвигнуть перед чистым разумом защиту, способную оградить его от нападков критики. Этот разум – есть ли это просто разум человека? Если идеи, которые здесь рассматриваются как основание всякой достоверности, сами имеют своим единственным основанием произвольное утверждение частицы атома, то, возможно, неблагоприятно рассчитывать только на них. Что же тогда мысль человека? Бернар Шартрский не колеблется сказать: это эманация мысли Бога; и он излагает вновь, но с гораздо большим изобилием, чем Герберт, тезис о божественных идеях. Они постоянны, они суть опосредованные причины вещей; вещи участвуют в них, и, как они, вещи вечны: «Мир, ни дряхлый от бессильной старости, ни подлежащий растворению в конечной гибели, освобожденный от своего, увековечивается вечным». Вот каким путем приходят к последним пределам реализма. Не нужно воспроизводить здесь подробности мнений Бернара Шартрского: достаточно видеть, что он из семьи гностиков.

Он поразил школу, но не увлек ее. Она привязалась гораздо больше к выводам Гийома из Шампо, против которых уже поднимались протесты молодого Абельяра. Все споры ведутся из-за слов; и поскольку критика скомпрометировала логический порядок системы Гийома, старались заменить новые термины теми, против которых она направила свои удары. Это сделал Готье де Мортань. Насколько можно судить по сообщению некоторых современников, он не поставил под вопрос ничего нового, но удовольствовался воспроизведением в другой форме взглядов Гийома на природу универсалии *in re*. Мы должны воздержаться от перечисления здесь всех разновидностей системы реализма: мы пишем не историю, а краткий обзор; и самые искусные глоссы не могут нас задержать, когда мы уже изложили то, что они имеют целью лучше объяснить. Пойдем теперь послушать уроки знаменитого оппонента Гийома и всех современных реалистов, того, кого называют перипатетиком из Палле, Пьера Абельяра. Действительно, его доктрина есть чистый перипатетизм; сам Аристотель не смог бы отвергнуть ни один из его аргументов, ни один из его выводов. Это тем более удивительно, что Абельяр знал и мог знать из всего собрания Аристотеля только некоторые части «Органона», те, которые были переведены Боэцием; но он обладал редкой силой диалектики, и именно упражняясь в этой драгоценной способности, он смог восстановить целое здание, из которого видел только основания. Рабан Мавр, Хейрик Осерский, Росцелин показали себя искусными критиками; Абельяр больше, чем это. Поскольку номинализм есть сперва, при первом слове, полемика, направленная против произвольного умножения сущностей, язык всех наших номиналистиче-

ских докторов неизбежно агрессивен; и в этом отношении Абеляр отличается от своих предшественников только более подвижной тонкостью, более презрительной уверенностью, более яростным и быстрым способом штурма. Но нужно добавить, что если номинализм Абеляра начинается с отрицания, то он заканчивается очень решительно догматическим утверждением: в этом его характер, его особое достоинство. Универсалии рассматривались как столько же субъектов, рожденных (это схоластический термин), чтобы предоставлять вещам их субстанциальный носитель: против этого тезиса воевали предшественники Абеляра. Нет, говорит он, универсалии не существуют в качестве природ, субъектов; это доказывается без возражений, нет ничего в обширной области творений или рожденных вещей, что не было бы по существу индивидуальным или не принимало бы необходимо форму, печать индивидуальности. Но нужно признать, что если универсалии не суть начала бытия, *principia essendi*, они тем не менее суть начала познания, *principia cognoscendi*, поскольку первое определение объекта, то, которое предшествует всем другим, есть утверждение бытия или небытия этого объекта. Утверждать же бытие определенной вещи – значит признавать, что она принадлежит к категории субстанции, а всякий категорический модус есть универсалия: следовательно, универсалии имеют в самих себе, сами собой свойство быть этим, а не тем, свойство, которое, однако, согласно номиналистам, приписывается только субстанциям, или индивидуальным вещам.

Здесь появляется то, что называют системой Абеляра. Он признает, что универсалии действительно могут рассматриваться как вот это или то; но это большая посылка рассуждения, вывод которой он отвергает. Что нужно сказать, чтобы заключить, согласно Абеляру, так это то, что универсалии, взятые как субъекты определения, как начала познания, неразрывно связаны со своей причиной, с интеллектом, который их образует по способу абстракции. Есть, конечно, различия, которые их составляют, поскольку мудрость, например, без двусмысленности отличается от красоты; но утверждать, что эти различия уподобляют их, в отношении способа бытия, вещам рода субстанции, – значит играть словами и делать софизм. Способ бытия универсалий определяется способом бытия их причины; поскольку они происходят от интеллекта, их правильно называют интеллигибилиями, интенциями, понятиями, идеями, концептами; синонимичные термины, обозначающие все не реальную сущность, а бытие разума. Вопрос, который затем задают, таков: поскольку универсалии суть формы мысли и никоим образом не объективные целые, составленные из материи и формы, какое доверие может дух возложить на эти общие понятия вещей, которые не соответствуют самой природе этих вещей? Абеляр тогда излагает теорию восприятия и показывает, как образуются простые идеи; он говорит затем, как дух, освобождая эти идеи от всех индивидуализирующих условий, возвышается до общих идей, и устанавливает в строгих, безупречных терминах необходимость достоверности. На этом система Абеляра полна. Историки философии дают ей имя концептуализма. Они могли бы, по нашему мнению, избавить себя от заботы изготавливать это слово; концептуализм есть лишь объясненный номинализм, и слава Абеляра не в том, что он изобрел какую-то дотоле неизвестную доктрину, а в том, что он оправдал аргументацией всегда удачной оригинальности общее мнение перипатетиков двенадцатого века. До него номинализм был протестом здравого смысла против безрассудств философии, не знавшей никакого правила; после того как он рассмотрел все проблемы и дал отчет обо всех фактах, номинализм стал подлинной доктриной. Именно за оказание этой блестящей услуги он по праву заслужил быть помещенным, недалеко от Декарта, среди величайших учителей французской школы.

Каким бы великим ни был успех его учения, после его смерти произошел поворот умов к реализму. Он действительно не удовлетворился борьбой с философскими заблуждениями; он еще проник в заповедную область теологии и, предложив различные толкования таинств, которые оскорбили ортодоксальные уши, был призван за это прегрешение перед церковный суд и осужден. После произнесения этого приговора нужно было иметь более чем обычное мужество, чтобы осмелиться вступить на путь, ведущий к ереси; и поскольку еще не научились

по памятным примерам, к какому избытку может привести реализм, эта доктрина вновь обрела некоторую благосклонность.

Самый искусный, самый глубокий и самый мудрый из этих новых реалистов, Жильбер де ла Порре, преподавал сначала в Шартре, затем в Париже и позднее был епископом Пуатье. Это был подлинно новаторский ум. В логике он был не только толкователем Аристотеля; он предложил добавить шесть глав к «Категориям», и это добавление долгое время принималось в школе как часть «Органона» в том же качестве, что и «Исагога» Порфирия: оно соединено с ним не только в рукописях, но и в издании «Сочинений» Аристотеля, данном Эрмолао Барбаро. В физике и метафизике он показал себя верным защитником реалистических тезисов, однако без воспроизведения тех терминов, против которых номиналистическая критика справедливо действовала. Так, для обозначения вечных сущностей, помещенных в сверхчувственной области, он воспользовался словом «формы», которое не часто употреблялось, и он очень заботился показать, чем отличаются отделенные формы и универсалии, взятые как субъекты вещей: таким образом, что он скрупулезно различал трансцендентальную науку (это одно из слов его языка) и естественную науку. Трансцендентальный реализм Жильбера состоит в предположении, что если порождение вещей началось с того момента, как дыхание Творца произвело движение, то первоначальные формы тем не менее не были изменены в своей природе новым актом, который произвел второстепенные формы; так, первоначальные и истинные субстанции воздуха, огня, воды, земли, человечества, телесности и т.д. были, есть и всегда будут в самих себе постоянными, неподвижными, отделенными от подчиненных субстанций, или рожденных форм, которые сообщают сущность чувственным феноменам. Когда наш доктор затем переходит к определению этих подчиненных форм, он не удовлетворяется, как Гийом из Шампо, Готье де Мортань, Аделард Батский и другие современные реалисты, сказать, что индивиды соединены в вид, род своими неразличными качествами; он употребляет более точный термин: то, что дает бытие, есть форма; принцип общей сущности, то есть вида, рода, будет, следовательно, не неким отрицанием, как неразличие, а утверждением, соответствием, формальным единством. Таков, вкратце, реализм Жильбера де ла Порре. Вполне ли он ортодоксален? Церковь была весьма далека от того, чтобы считать его подозрительным, когда она призвала Жильбера на епископскую кафедру Пуатье; но вскоре любопытные и беспокойные умы забеспокоились и сообщили об этом публике. Немедленно – великий скандал и великий шум! Епископ, говорят, сделался виновным в богохульстве против божественных лиц. Преданный судьям, он обвиняется оракулом Церкви, святым Бернаром, и осужден. Приговор вынесен против языка, неприятного для католических ушей! Жильбер осмелился сказать, что сущность, будучи в порядке порождения выше субстанции, божественность есть нечто превосходящее индивида божественного рода, которого на человеческом языке называют Богом. Это было реалистическое различие. Оскорбляло ли оно веру? Достаточно было того, что оно ее тревожило! Это все, что святой Бернар соблаговолил ответить епископу Пуатье, не желая вступать с ним в тонкости спора.

Где отныне будет прибежище философов? Изгнанные с Абеяром, изгнанные с Жильбером, какой доктрине будут они просить примирения логики и религии? Некоторые из них бросятся в скептицизм с Иоанном Солсберийским; другие – в безразличие с Петром Ломбардским; эти – в мистицизм с Ришаром Сен-Викторским; те – полностью откажутся от философского изучения, чтобы заниматься только грамматикой, музыкой или медициной. Однако то, что Церковь отвергла в тетрадах, в писаниях Жильбера и Абеяра, – это менее еретические положения, чем двусмысленные термины или слишком любопытные исследования. Школа будет поэтому предана гораздо большей путанице, когда встретятся логики, которые осмелятся производить и принимать крайние следствия реализма. Это зрелище, которому мы скоро станем свидетелями.

§ 2. Второй период схоластики. От Альберта Великого до Жерсона.

До тех пор, пока школа лишь интерпретировала различные части «Органона», она должна была останавливаться на предпосылках систем; логика, в самом деле, есть лишь преддверие философии. Но занятия и умы освободились с такой свободой, которая вскоре выродилась в своеволие, как только изучение обратилось на «Физику» и «Метафизику» Аристотеля.

Это было к концу двенадцатого века, когда эти сочинения были введены во Францию, переведены на латынь не с греческого, а с арабского, и сопровождались комментариями, гораздо более далекими, чем сам текст, от принятых и освященных мнений. Их встретили с энтузиазмом; но это было древо жизни и смерти, и первые, кто осмелился сорвать плоды с этого дерева, были внезапно поражены головокружением. Это история Амори де Бена, Давида Динанского и их многочисленных учеников. Имена этих несчастных были обесчещены синодальными приговорами, а их смертные останки извлечены из святых мест. В чем состояло их преступление? Они прочли в «Книге причин», в «Источнике жизни», в некоторых мусульманских глоссах к «Физике», что происхождение и конец вещей суть тождество в абсолютном, и они старались примирить подобное положение с доктриной, или вернее, с формулами христианской доктрины. Мы весьма сожалеем, что не обладаем ни одной из книг, приписываемых этим докторам; по крайней мере, можно найти почти достаточные сведения об их странном предприятии в актах соборов, которые их осудили, и в «Сочинениях» Альберта Великого и святого Фомы. Святой Фома, всегда пронизательный и глубокий критик, тотчас признал их принадлежащими к секте Парменида.

Вместе с ними был осужден и Аристотель. Однако могла ли школа отныне примириться с тем, чтобы не открывать более книг Аристотеля? Она обжаловала приговор, произнесенный Парижским собором, и, чтобы оправдать эту апелляцию, предприняла энергичные вылазки против нечестивого реализма арабских толкователей Аверроэса, Авицеброна и автора «Книги причин», возлагая на них всю ответственность за новые заблуждения и, с другой стороны, выдвигая в пользу католических мнений аргументы и афоризмы, заимствованные с самой осмотрительной осторожностью как из «Физики», так и из «Метафизики». Александр Гельский считается одним из первых, кто вел эту искусную пропаганду. Отметим, однако, что он занимался гораздо менее философией, чем теологией, и если школа еще в шестнадцатом веке считала его одним из своих учителей, то потому, что приписывала ему глоссы на «Метафизику», которые позднее были возвращены их истинному автору, Александру Александрийскому. Гильом Овернский, епископ Парижский, заслуживает большего внимания. Он часто выступал против философии; но эта декламация в его книгах – лишь род ораторской предосторожности: это философ, который старается скрыться, и тем не менее не нужно долго искать в его сочинениях, чтобы узнать его мнение по проблемам, указанным Порфирием. Это мнение совершенно сходно с мнением Гильома из Шампо; он реалист по всем пунктам, и даже без особой меры. Вся его осторожность состоит в том, чтобы не переступить черту, за которой Амори де Бен нашел пропасть. Впрочем, это просвещенный ум, применяющий метод и заблуждающийся с открытыми глазами. Мы не поместим в низшем ряду Роберта Гроссете-ста (Робертуса Капито), епископа Линкольна. Как и Гильом Овернский, он большой сторонник реализованных абстракций; но он менее занят тем, чтобы сослаться в их пользу на свидетельство Отцов, чем на свидетельство Аристотеля. По его словам, Аристотель в своей логике имел целью лишь рекомендовать платоническую онтологию. Это странное утверждение. Другой доктор того времени, Иоанн из Ла-Рошели, заслуживал бы более пространныго упоминания; он оставил «Трактат о душе», который, не содержа много оригинальных наблюдений, тем не менее должен быть причислен к самым интересным памятникам той эпохи. Учитель Иоанна

из Ла-Рошели – Авиценна (Ибн-Сина); но он следует за ним с некоторой свободой. Приступим, наконец, к первенцу великих докторов тринадцатого века, к этому человеку, необыкновенному по своему уму, инициативе и знанию, который пришел изменить форму схоластического преподавания и заменить элементарную ученость подлинно доктринальной, подлинно независимой философией.

Альберт, родившийся в 1193 году в Лавингене в Швабии, в древней семье графов Больштадтских, сделал свои первые занятия в Падуе, а затем посетил другие города, среди которых называют Болонью и Париж, желая послушать всех знаменитых учителей и стать сведущим во всех науках. Около 1222 года, в возрасте двадцати восьми или двадцати девяти лет, он принял обет по уставу Святого Доминика и был немедленно назначен своими начальниками преподавать теологию в монастырском доме в Кёльне. В 1228 году он вернулся в Париж, и дом Сен-Жак принял его со всеми почестями, подобающими его молодой славе. Он пробыл там недолго; но там он был удостоен докторской степени и читал публичные лекции, которые положили начало великой судьбе доминиканской школы. Его поразительные успехи породили различные басни, сохраненные традицией и ставшие легендами. Мы не будем на них останавливаться; но вот свидетельства истории. Со всех сторон стекались к его кафедре; молодежь не хотела другого учителя, кроме этого худощавого человека, изнуренного учеными бдениями, для которого, казалось, небо и земля уже не имели тайн, чья наука была, как говорили, по отношению к другим наукам тем же, чем свет солнца к бледнеющим огням погребальной лампы, и чье красноречие восхищало все души, сообщая им божественный восторг, пламенную страсть познания. Вскоре возведенный Вормским рейхстагом в достоинство провинциала Германии, Альберт не без сожаления покинул монастырь Сен-Жак, чтобы посетить дома, находящиеся под его юрисдикцией. Эти дома обладали драгоценными реликвиями латинской древности; сочинениями, которые Франция, сама Италия считали утраченными для науки: Альберт переписывал их собственноручно или заставлял копировать некоторых спутников своего паломничества; затем он отправлялся в другие места, нагруженный своей богатой добычей, путешествуя пешком и, следуя уставу своего ордена, протягивая руку на всех дорогах для принятия милостыни. После миссии в Польше Альберт прибыл в Рим, где папа Александр IV поручил ему должность магистра Священного дворца. Наконец, в 1260 году он принял епископство Регенсбургское. Но дела, заботы, трудности управления не подходили этому суровому человеку, самым живым вкусом которого было изучение, наука. Пронеся три года тяжелое бремя епископского паллиума, он сложил его, чтобы удалиться в монастырь Кёльна, вновь взяться за свои книги, своего Аристотеля и снова пригласить молодежь послушать его. Он умер в Кёльне 5 ноября 1280 года.

Перечисление сочинений, оставленных Альбертом Великим или опубликованных под его именем, занимает не менее двенадцати страниц in-folio в «Библиотеке» Кетелера и Эшара. Его современники называли его «доктором универсальным», и по праву; из всех проблем, которые в его время принадлежали к области науки, нет ни одной, которую он не затронул бы в двадцати одном томе in-folio, составляющих собрание его «Сочинений». Его часто причисляли к реалистам; его плохо понимали. Реалисты умножают сущности без необходимости; все, что их интеллект постигает, тут же превращается их воображением в столько же сущностей рода субстанции, и таким образом они населяют вымышленными существами архетипический мир, вселенную, мысль. Однако схоластический спор до этого дня велся главным образом об универсалиях in re, другими словами, о родах, видах, рассматриваемых реалистами как субстанции, реальные субъекты, а номиналистами – как существенные модусы, способы бытия, присущие субстанции истинных субъектов, то есть индивидов. Что же! По этому вопросу Альберт Великий без всяких оговорок выражает мнение, исповедуемое Абеляром. И это заявление находится не в отдельной фразе: на каждой странице его комментариев к перипатетической

логике, физике и метафизике та же проблема возникает вновь, и она решается в тех же выражениях: *Singularia sola sunt ens ratum in natura* (Только единичные суть твердое сущее в природе). Альберта Великого, следовательно, следует причислить к номиналистам. Он действительно таков, когда речь идет об определении вещей, находящихся в конечном акте, вещей, которые являются объектом эмпирического исследования, изучения, существ, совокупность которых образует то, что мы называем этой вселенной. Речь идет об универсалии *ante rem*? Он очень плохо обращается с сущностями платоновского мира и утверждает, что не понимает идеи, действительно, реально отделенной от интеллекта, который ее образовал. Наконец, он излагает свою доктрину об универсалии *post rem* таким образом, что кажется на первый взгляд безупречным. Однако следует заметить: выводы Альберта, какими бы номиналистическими они ни были, все же оставляют обильную почву для спора. По всем пунктам дебатов, занимавших двенадцатый век, он высказывается за Абельяра против Гильома из Шампо и против Бернара Шартрского; но, поскольку его слушатели не осмелятся после него апеллировать против этого приговора, они постараются истолковать его термины в пользу нового реализма, менее слепого и грубого, чем старый. В «Сочинениях» Альберта Великого можно привести некоторое число пассажей, благоприятствующих такому толкованию. Скажем же, что он был номиналистом во всех своих ответах на вопросы, волновавшие его время, и что он остановился колеблясь, неуверенно, страшась требований логики перед проблемами, которые должны служить последним оплотом преобразованного реализма. Каковы эти проблемы, мы сейчас узнаем, говоря о святом Фоме.

Родившийся около 1227 года в городе или на территории Аквино, святой Фома имел своими первыми учителями монахов Монте-Кассино. В тринадцать лет он завершил в Неаполе свои литературные занятия, когда монахи-проповедники этого города убедили его оставить мир и принять одежду их ордена. Поскольку он происходил из знатной, богатой, могущественной семьи и, как казалось его матери, его братьям, должен был добавить новую славу блеску их имени на гражданском поприще, все средства, даже самые преступные, были употреблены, чтобы вырвать его из рук монахов Святого Доминика; но это не удалось: он верил, что услышал голос Бога, призывающий его на служение Церкви, и не мог, как он говорил, удержаться от повиновения этому приказу. В 1244 году он произнес обеты и был отправлен своими начальниками сначала в Париж, затем в Кёльн, где его учителем стал Альберт Великий. Рассказывают, что взгляд его был затуманен густым облаком, что он мало говорил, что охотно избегал своих соучеников, не принимая никакого участия в их развлечениях, поглощенный в течение всего дня одинокими размышлениями. В конце концов решили, что он возвышен только своим происхождением, и его товарищи со смехом называли его «сицилийским немым быком». Его учитель Альберт, сам не зная, что об этом думать, воспользовался случаем большого собрания, чтобы расспросить его о ряде весьма запутанных вопросов. Ученик ответил с такой поразительной проницательностью, что Альберт был охвачен той редкой и божественной радостью, которую испытывают превосходные люди, когда встречают другого человека, который должен сравняться с ними или превзойти их; он взволнованно повернулся к находившейся там молодежи и сказал им: «Мы зовем святого Фому немым быком, но однажды рев его доктрины раздается по всему миру». Так рассказывает эту историю г-н Лакоордер, вслед за анналистами ордена Святого Доминика. Мы видим, как святой Фома возвращается в Париж в 1245 году, покидает этот город в 1248-м, чтобы снова отправиться в Кёльн вслед за своим учителем, пробыть там четыре года; вернуться в коллеж Сен-Жак, завершить свои теологические занятия, комментировать «Сентенции» Петра Ломбардского, получить знаки докторского достоинства и, наконец, занять кафедру в Университете. Святой Фома, таким образом, по праву считается принадлежащим к Парижской школе. Добавим, что он охотно принял бы эту школу за вторую родину, если бы приказы пап и настояния короля Неаполя Карла Анжуйского не вызывали его

так часто за горы. Он направлялся в 1274 году на Второй Лионский собор, когда был вынужден из-за сильных страданий прервать свое путешествие. Принятый у цистерцианских братьев Фосса-Нуова близ Террачины, он умер в их доме 7 марта на сорок девятом году жизни.

Брат Фома Аквинский, умирая, оставил самую блестящую славу: Парижская школа поспешила провозгласить его вторым Августином, доктором докторов, ангелом школы, ангельским доктором. Его публичные лекции имели такой успех, что он мог видеть, как все его выводы принимаются молодежью как последнее слово науки. *Didicit omnes qui Thomam intelligit, nec totum Thomam intelligit qui omnes didicit* («Познал всех, кто постиг Фому, и не постиг всего Фомы тот, кто познает всех»): это в середине семнадцатого века отец Лаббе воздавал этот восторженный хвалебный гимн гению святого Фомы; в тринадцатом же его приняли как другого пророка. Чтобы составить себе представление об этом огромном успехе, достаточно пробежать несколько страниц его главного труда, «Суммы теологии»; там сразу узнается то, что отличает святого Фому от всех учителей его времени. Этим несомненным превосходством он обязан своему методу; именно он привел его к последним следствиям проблем; с его помощью он внес порядок в свои мнения, свои суждения; именно он дал ему ту поистине докторскую уверенность, которая требует согласия слушателя. С тринадцатого века не было другой теологии, кроме теологии святого Фомы: всякий, кто пытался отклониться от решений, предложенных этим великим доктором, делал шаг к ереси; всякий, кто просто хотел поместить новое слово в один из выводов «Суммы», чтобы сделать его более ясным или остроумным, становился подозрительным для Церкви и подвергался осуждению. Поскольку в школе всегда пользовались большей независимостью, философия святого Фомы не имела той же судьбы; она не остановила естественного хода вещей, не подавила дух исследования, и, как хорошо известно, область науки значительно расширилась с тех пор, как этот знаменитый доктор покинул свою кафедру. Однако не следует недооценивать влияние, которое схоластическая традиция все еще оказывает на многие умы, без их ведома, и эта традиция исходит от святого Фомы.

Высказавшись против реалистов, Альберт Великий задел францисканцев, которые не желали слышать, как оспаривают их первого доктора, Александра Гэльского. Это стало причиной ссоры между монахами, вступившими под знамя святого Франциска, и теми, кто носил отличительные знаки святого Доминика. Святой Фома, полный уважения к своему учителю и ревности к своему ордену, без колебания вступил в лагерь номиналистов. Его там преследовали; он сумел очень хорошо защищаться и энергично отражать все нападки, которые на него предпринимались. Мы можем, следовательно, пренебречь деталями его решений о родах, видах, универсалиях со стороны вещей: это решения Альберта Великого. Но вот возникают другие вопросы. Альберт Великий был склонен, в силу склада своего ума, к изучению природных вещей; святой Фома будет иметь меньше вкуса к физике, чем к психологии, и вопросы, которые он предпочтет затронуть, будут те, что касаются способа бытия духовной субстанции, ее способностей, функций и актов. Здесь-то реализм и проявится в новой форме. Какова природа идей? Верные перипатетики считают, что идеи по существу не отличаются от мыслящего субъекта, и определяют их как модусы интеллекта. Для святого Фомы идеи суть постоянные формы, пребывающие в уме, отличные, отделенные друг от друга, субстанциальные сущности, населяющие мир, образ внешнего мира, мир интеллектуальный. Этот тезис об идеях-образах хорошо известен: Антуан Арно и доктор Рид вели против него, после Уильяма Оккама, непримиримую войну. Он несомненно реалистичен. Если затем, следуя методу схоластов, уподобить божественный интеллект человеческому, то получится теория божественных идей, принятая умеренной секцией платонической школы. Таков, сведенный к простейшим выражениям, психологический реализм святого Фомы. Он сильно отличается, как видно, от онтологического реализма Гильома из Шампо; но он должен предложить новую пищу номиналистической критике и вызвать другие бури.

Эти дебаты начались несколько поздно: постоянно возвращая вопрос об универсалии со стороны вещи, францисканцы задерживали кризис, который должен был разразиться в среде номиналистической партии. Генрих Гентский и Роджер Бэкон пришли отстаивать их дело с большой живостью и с достаточным успехом, чтобы бросить некоторую тень на славу святого Фомы. Рекомендую презирать науку и бежать от школы, святой Бонавентура возбудил процесс против рационализма, и номиналисты, более независимые и более рассуждающие, чем их противники, были поставлены раньше них в списки запрещенных мистицизмом. Тогда среди францисканцев произошли некоторые отступничества. Иоанн Галльский, вслед за святым Бонавентурой, вписал себя в число хулителей философии. Ричард Миддлтонский совершил ошибку, сочтенную гораздо более серьезной: он объявил себя за доктрину соперничающего ордена и стал преподавать номинализм в Парижской школе. Но вот является Гильом де Ламарр, который возвращает под знамя всю францисканскую молодежь и бросает ее против вражеских фаланг. Он вооружен обвинительным актом, как баллистой, которой должен раздавить доминиканцев, если они не будут настороже. Те посылают ему навстречу одного из самых искусных лейтенантов святого Фомы, Эгидия Колонну, носившего странное прозвище *Dotor fundamentarius* (Доктор основательный); и под руководством такого вождя оборона не менее предприимчива, не менее энергична, чем нападение. Это жестокая битва, в которой многие аргументы пересекаются, сталкиваются и притупляются, не достигая цели, и которая завершается без того, чтобы одна из двух партий могла по праву радоваться победе. Следовательно, вскоре борьба возобновится. Это новое предприятие возглавил Дунс Скот.

Поговорим, наконец, об этом знаменитом учителе, которого следует назвать Столпом, Факелом, Вечно сияющим светилом францисканской школы и который должен ускорить падение этой школы, злоупотребляя принципом, на котором основывается его доктрина. Неизвестна даже родина Дунса Скота. Лук Ваддинг, историк его ордена, полагает, что он родился в Ирландии, но не утверждает этого; отец Лаббе хочет, чтобы он происходил из Шотландии; Брукер утверждает, основываясь на свидетельстве Бейля, Кэмдена, Уортона и Фабриция, что он родился в Англии, в Нортумберленде. Как бы то ни было, принятый в орден Святого Франциска в очень юном возрасте, он сделал свои первые занятия в Оксфорде, в колледже Мертона, и отличался там, как нам говорят, особенно своим вкусом и способностями к математике. Мы охотно верим этому. Дунс Скот впоследствии занимал кафедру философии в Оксфордской школе, и рассказывают, что у него последовательно было тридцать тысяч слушателей. Именно после таких успехов он приехал в Париж изучать теологию и получить знаки докторского достоинства. Его начальники отправили его в Кёльн, где он умер в 1308 году в возрасте тридцати четырех лет. То, что он написал в этом возрасте, составляет материал примерно двадцати пяти томов *in-folio*: одни его философские сочинения, собранные Лук Ваддингом, занимают тринадцать томов этого формата. Такая плодовитость граничит с чудом.

Первое слово доктрины Дунса Скота весьма знаменательно. Альберт Великий полагал, что основы науки находятся в естественной философии; святой Фома искал их в психологии; Дунс Скот начинает с заявления, что всякое знание происходит из логики. Другими словами, силлогизм есть, по его мнению, единственное правило достоверности. Когда исходят из этого принципа, то вступают на путь, полный опасностей. Дунс Скот вскоре встречает на нем различие, сделанное томистами между объектами первой и объектами второй интенции, то есть между индивидуальными феноменами, которые, воспринимаемые чувственными способностями души, находятся на первой ступени познания, и общими атрибутами сущего, которые, постигаемые интеллектуальными способностями, приходят лишь на второй ступени. Это различие необходимо сохранить; но Дунс Скот спешит сказать, что оно имеет свое основание в природе мыслящего субъекта, а не в природе вещей: так, слабость нашего интеллектуального устройства не позволяет нам непосредственно воспринимать общие сущности, как частные; но не следует заключать отсюда, что одни не существуют в том же качестве, что другие: те

и другие соответствуют, впрочем, понятиям того же порядка, логическим понятиям. Между ними, следовательно, нет разницы по сущности, но только, это признается, по способу бытия, поскольку одни существуют индивидуально, а другие – универсально. При таком положении все остальное следует само собой: сколько дух будет формировать суждений о природе вещей, столько философ будет объявлять, что существует определенных в сущности объектов, или, чтобы употребить его язык, энтативных актов. Однако дух действует не только через соединение, но и через разделение: с одной стороны, он сравнивает качества вещей, оценивает сходства и таким образом собирает общие понятия; с другой стороны, он отвлекает от всякого составного, природу которого исследует, различные качества, которые находит в природе существующими или привходящими к одному и тому же субъекту, и таким образом постигает материю, отделенную от всякой формы, форму, отделенную от всякой материи, или просто материю, отделенную от некоторых форм и однако соединенную с некоторыми другими. Что же! Каждому из этих понятий, каждому из этих понятий, отличных друг от друга, соответствует, согласно Дунсу Скоту, природа, существование: это фундаментальный тезис реализма. Мы не говорим, что это его оправдывает; но, по крайней мере, это позволяет понять и определить его как подмену реального порядка понятийным. Никто, кроме Спинозы, не зашел в этом пути дальше Дунса Скота. В нескольких его трактатах встречаются фразы странной энергии, которые кажутся насмешкой над обычной верой; однако, будучи приведенным духом системы к самым безрассудным утверждениям, после того как он осмелился признать своим учителем того плохо прославившегося философа, чьи писания были признаны ответственными за заблуждения Амори де Бена, еврея Авицеброна, он возвращается на свои шаги, выдвигает тонкие различия и ищет убежища для верующего за уловками софиста. Каковы бы ни были ошибки и тенденции его доктрины, Дунса Скота, однако, следует рассматривать как один из высочайших умов, приступавших к философским проблемам. Если он был менее благоразумен, чем святой Фома, он отличался большей свободой ума; и по второстепенным вопросам он часто справедливо критиковал его, предлагал и заставлял принимать всей школой объяснения более остроумные и верные. Мы не знаем среди современных диалектиков более изощренного. Гоббс более тверд, но и более груб. Мы можем сравнить Дунса Скота только с Гегелем. Он был, как и святой Фома, оракулом партии. Францисканцы вскоре забыли Александра Гэльского, чтобы клясться только словом Дунса Скота, и споры возобновились с новой живостью, чтобы продолжаться сквозь века. Не так давно еще публиковались для употребления в школах томистские и скотистские учебники; потребовалось не меньше, чем упразднение религиозных орденов, чтобы завершить борьбу рассеянием бойцов.

Одним из первых последователей Дунса Скота был Франциск Мейронский, или де Мейрон, прозванный доктором просвещенным. После него появились на кафедре францисканской школы Антонио Андреа, Иоанн Бассолий, Пьетро д'Аквила и некоторые другие, не менее неизвестные в наши дни, не менее знаменитые в свое время. Мы можем в двух словах оценить результат их учения: более нескромные, чем Дунс Скот, более невоздержанные, они позволили увлечь себя к нелепостям, из которых их противникам оставалось лишь извлечь выгоду.

Те не замедлили явиться. Назовем сначала Ноэля Эрве, Гервея Британского, генерала ордена Святого Доминика в 1318 году, умершего в Нарбонне в 1323. В писаниях Эрве нет ничего оригинального: это лишь прозорливый томист. Мы ставим гораздо выше в нашем мнении Петра Ауреоли, родившегося в Вербери-сюр-Уаз, прозванного в Парижском университете *doctor facundus* (доктор красноречивый). Это диалектик первого порядка. Но, прежде чем дать слово этому доктору, нам нужно представить его на сцене. Это номиналист, и даже очень решительный; однако он францисканец. Эти два факта кажутся противоречивыми. Мы не хотим отрицать это противоречие, но объяснить его. Такова была тогда взаимная вражда двух воюющих орденов, что, чтобы не быть обвиненным в измене, всякий францисканец должен был объявлять себя против святого Фомы, а всякий доминиканец – против Дунса Скота. Но разве

нельзя было удовлетворить этому обязательству, не отказываясь от всякой независимости? Ауреоли думал, что ему простят то, что он не находится в перманентном восхищении перед Светилом францисканской школы, при условии, что он всегда будет полон вражды к Ангелу доминиканской школы. Для этого что он сделал? Он кратко рассмотрел вопросы, о которых Дунс Скот больше всего рассуждал, и живо атаковал психологический реализм святого Фомы. Таким образом, несмотря на невероятность такого факта, это логик, воспитанный в дисциплине Дунса Скота, нашел самую строгую формулу номинализма.

Ауреоли, следовательно, вел войну против интеллектуальных видов, идей-образов доминиканской школы, и он проявил в этом споре поистине замечательное искусство. *Non est philosophicum ponere pluralitatem sine causa* («Не философствено полагать множество без причины»): этот афоризм Ауреоли вполне соответствует афоризму Уильяма Оккама: *Entia non sunt sine necessitate multiplicanda* («Сущности не следует умножать без необходимости»); и мы тем более стремимся отметить это совпадение, что, согласно общему мнению, Уильям Оккам не имел учителя. Если продолжить сравнение между аргументами, приводимыми одним и другим против психологических вымыслов святого Фомы, то увидим, что между ними существует самое полное сходство. Однако историки философии едва упомянули имя Ауреоли; никто не знал его доктрины и не принял к сведению его дерзкой инициативы: это несправедливость, которую мы стремились исправить.

Были не намного справедливее и по отношению к Дюрану де Сен-Пурсена, *doctor resolutissimus* (доктор весьма решительный); его также нужно причислить к предшественникам Уильяма Оккама и признать, что он оказал очень большие услуги партии независимых. Он был доминиканцем; но, ободренный, без сомнения, примером Ауреоли, он порвал с традициями своего ордена и зашел очень далеко в номиналистической критике.

С этого времени одеяние, которое носят в религии, более тесно не обязывает к философской секте: узы дисциплины почти разорваны; и, если всегда должны существовать две школы, каждый становится в ту или другую согласно своим вкусам, своему нраву, своим мнениям.

Перейдем, наконец, к Уильяму Оккаму. О первых годах его жизни ничего не известно. Родившись в Англии, в городке графства Суррей, от которого получил свое имя, он в ранней юности был принят у братьев-миноритов и имел Дунса Скота учителем теологии. Вот все, что Лилэнд, Питс и Ваддинг сообщают нам о его начале. В каком году он приехал в Париж? Неизвестно; но, кажется, это было до конца великих волнений, вызванных в Церкви и Государстве разногласием между Бонифацием VIII и Филиппом Красивым. Францисканцы высказались в пользу принца и не щадили папство в своих речах, писаниях. Уильям Оккам поспешил принять участие в этом споре и распространил среди публики пламенный манифест против тирании, то есть против власти наследника святого Петра. После смерти Бонифация VIII Уильям Оккам преследовал Иоанна XXII. Тот, имев неосторожность захотеть защищать свое дело доводами некоторого веса, получил от Уильяма доказательство, в самых непочтительных выражениях, что Христос никогда ничего не имел, что апостолы, по примеру своего божественного учителя, не имели ни крыши, ни одежды, ни личного кошелька, и что, следовательно, ни один из истинных слуг Христа не может присваивать себе какое-либо право на вещи этого мира. Это был, впрочем, язык, который держал генерал его ордена, Михаил из Чесены. Иоанн XXII принял против них насильственные меры. Он приказал им явиться к нему, и, когда они прибыли в город Авиньон, запретил им выезжать оттуда до окончания суда над ними. Они были достаточно удачливы, чтобы суметь нарушить это предписание и добраться до лодки, ожидавшей их в порту Эг-Морт; они сели в нее и на некотором расстоянии от берега нашли судно, несшее цвета Людвига Баварского, объявленного сторонника антипапы Петра из Корбери. Их доставили в земли этого принца, который оказал им лучший прием. Но запугивание, осуществленное папой и гражданской властью, разорвало узы солидарности, связывавшие их до тех пор с конгрегацией Франции, и, осужденные своими братьями на генеральном капитуле 1331 года,

они должны были смириться с жизнью в изгнании. Это лишь краткий рассказ: полная история опасностей, с которыми столкнулся Уильям Оккам, и предприятий, предпринятых этим бесстрашным свидетелем истины, заняла бы здесь слишком много места. Мы покажем, что как философ он был не менее мужественным и предприимчивым.

Отложим сначала вопросы, дебатировавшиеся в двенадцатом веке. Дунс Скот обновил их новым изложением; однако все выводы Дунса Скота реалистичны, и несколько энергично произнесенных слов достаточно Уильяму Оккаму, чтобы опровергнуть построение онтологического реализма. Эти слова часто встречаются под его пером, ибо он находится среди упрямых людей, которые неохотно отказываются от иллюзий; но, поскольку уже святой Фома и его школа сформулировали энергичные сентенции против той же ошибки, нет нужды на этом настаивать: нам достаточно сказать, что Низолий, Гоббс, Кант, самые непримиримые номиналисты, не проявили себя более четкими, более решительными, чем Уильям Оккам, в своей критике универсальных сущностей.

Что для нас важнее, так это указать, где Уильям Оккам отделяется от томистов и обращает против них их собственные аргументы, чтобы довести номинализм до его последних следствий. Он начинает с анализа познавательной способности и констатирует, что она имеет в своем распоряжении две энергии: энергию интуитивную (в собственном смысле, от *intueri*, смотреть, видеть), которую мы сегодня называем восприятием, и энергию абстрактную, которую мы называем абстракцией. Этим двум энергиям соответствуют два порядка интеллектуальных фактов: простые идеи, которые доставляет нам вид чувственных объектов; составные идеи, которые интеллект формирует путем сравнения, абстракции. Но какова природа этих идей? Святой Фома и его последователи хотят, чтобы, будучи собранными, они становились в лоне ума представительными сущностями, заместителями, субститутами отсутствующих объектов. Именно против этого вымысла Уильям Оккам протестует с наибольшей силой. Томисты боролись с реализованными абстракциями Александра Гэльского, Генриха Гентского, Дунса Скота; нужно признать, что они оказали этим услугу истинной науке: но какое имя дать затем их впечатленным и выраженным видам, их интеллектуальным фантомам, их постоянным образам? Не суть ли это все еще баснословные существа, воображаемые реальности? На этот вопрос, который он обсуждает обстоятельно, Уильям отвечает в развязном тоне современного философа, что нет основания предполагать все эти вещи и что, чтобы объяснить интеллекцию, равно как и ощущение, достаточно двух терминов: субъект ощущающий, объект ощущаемый; субъект мыслящий, объект мыслимый. Переходя затем к вопросу об универсалиях *ante rem*, Уильям Оккам демонстрирует самым убедительным образом, что, плохо зная человеческий интеллект, его способ бытия и действия, реалисты странно заблуждались в определении божественного интеллекта. Бог есть имя тайны; его дела человек видит и судит; но кто может льстить себя знанием природы Бога? Из всех ошибок реализма самая серьезная – та, которую он совершил, когда захотел объяснить божественные идеи. *Deus cogitavit mundum antequam creavit* («Бог мыслил мир прежде, чем создал его»): святой Августин это утверждает, и никто, конечно, не станет против этого спорить; но зачем идти дальше и населять мысль Бога видами, интеллигибиями, духовными атомами? Разве не видно, что воображать в Боге все эти вещи – значит налагать на его всемогущий разум если не пределы, то, по крайней мере, пути, и подчинять его, по аналогии, тем же условиям существования, что и его смиренное творение? И, кроме того, на каком основании покоится вся эта система? Уже известно, на ложном описании человеческого ума. Таким образом, понятие Бога сводится к понятию, пришедшему из опыта, сформированному разумом и представляющему сумму качеств, отвлеченных от вещей, но не определяющих чистую сущность Бога, поскольку эта таинственная сущность ускользает, по своей природе, от всех исследований интуитивной энергии: *Dum caremus conceptu Dei proprio – quod ipsum intuitive non videmus —, attribuius ipsi quidquid Deo potest attribui eosque conceptus prædicamus non pro se sed pro Deo* («Поскольку нам недостает собственного понятия о Боге

– ибо мы не видим Его интуитивно —, мы приписываем Ему все, что может быть приписано Богу, и эти понятия мы утверждаем не о них самих, но о Боге»). Вот тезис Уильяма Оккама. Как далеко мы от святого Ансельма!

Номинализм не встречал за все Средневековье более разумного и мужественного толкователя. Результат его усилий был значителен: подобно тому, как Абельяр в двенадцатом веке восстановил порядок в империи логики, так Уильям Оккам в четырнадцатом дисциплинировал, реформировал физику и метафизику и укрепил основы этих двух наук строгой критикой чистого разума. Поэтому нужно остерегаться смешивать его с этими искусными ткачами паутины, которых Фрэнсис Бэкон столь презирал: он был их противником; и, если автор «Нового Органона» не нашел почву совершенно свободной, когда пришел строить свое нетленное здание, то потому, что она была покрыта руинами, сделанными Уильямом Оккамом.

После него схоластическая философия приходит в упадок. Напрасно Уолтер Бёрли взывает к традиции, негодует против опасных новшеств и трудится, чтобы вернуть в честь некоторые реалистические тезисы: его не слушают. Арман де Бовуар, Роберт Холкот, Фома Страсбургский, Григорий Риминийский, Жан Буридан, Пьер д'Айи – номиналисты с большей или меньшей энергией. В конце четырнадцатого века раздается последний протест; но он направлен не против самой доктрины Уильяма, он обращен лишь к человеческому разуму, уличенному в бессилии. Действительно, доказано, что если разум может принять таинства как собственные объекты веры, он не сумеет дать им отчет. Итак, восклицает Жан Шарль де Жерсон, положим конец суетным спорам и не будем более спрашивать у разума истину, которой он не обладает: веру нужно вопрошать, правило веры нужно соблюдать; и, если некоторые непокорные или гордые умы еще любят свои философские придиранья, оплатим их заблуждение и пойдем, смиренномысленные, искать, вдали от школы, в лоне Церкви, мир, свет и жизнь. Так рекомендует себя мистическая теология. Каковы бы ни были достоинство, какова бы ни была власть Жерсона, канцлера Парижского университета, его призыв не имел всего успеха, которого он мог ожидать. У него было некоторое число учеников; но наиболее умная часть молодежи продолжала внимать речам философов. Однако очевидно, что окончательный успех номинализма привел к дискредитации схоластики. Период, который мы только что прошли, – период полемики; когда одна из двух партий была выведена из строя, борьба должна была прекратиться. Она вскоре прекратилась, и каково же тогда было направление умов? Логика была скомпрометирована невоздержанностью логиков, и все системы, украшенные ими бесчисленными различиями, предлагали уму осложнения, с которыми можно было освоиться лишь путем долгих и трудных занятий. Со всех сторон потребовали философию более простую, более популярную, менее схоластическую; школы стали посещаться меньше, а свободомыслящих слушали с большим вниманием и уважением.

Нужно также считать изобретение книгопечатания среди главных причин упадка схоластики. В четырнадцатом веке преподавание философии происходит с кафедры; редкие рукописи, которые сохраняют традицию воюющих доктрин, суть лишь тетради профессоров: поэтому, чтобы учиться, нужно ходить в школы. Около середины пятнадцатого века изобретается искусство, посредством которого молодежь Англии, Испании, Германии, Италии может, не совершая долгих и дорогих путешествий, знать все, чему учат мастера Парижа, – зачем отныне записываться в число их учеников? Это новое искусство предлагает еще множество других удобств. Прежде принципы науки собирали у одного учителя, и почти всегда становились его приверженцами: чтобы покинуть школу и встать под другие знамена, нужно было иметь необычайную смелость. Теперь сравнивают, вопрошают перед выбором десять учителей сразу. Это сравнение – элемент свободы!

§ 3. Философия Возрождения.

Между философией Средневековья и философией Возрождения существуют заметные различия, не позволяющие их смешивать. Все доктора Средневековья, номиналисты или реалисты, доминиканцы или францисканцы, говорят примерно на одном языке и соблюдают в доказательстве те же правила. Если они никогда не называют друг друга по имени, если они никогда, какова бы ни была разница их мнений, не ставят собственного имени под системой, то достаточно, однако, побывать мгновение на их уроках, чтобы понять, что они противоречат и взаимно обвиняют друг друга в ошибке. Философы Возрождения действуют совсем иначе. Когда они вступают в какую-либо полемику, они не соблюдают ни предписаний хорошего вкуса, ни милосердия; они страстны и жестоки: но чаще всего они не заботятся узнать, что думают в другом месте о проблемах, которые они поднимают; и, мало беспокоясь о борьбе с устоявшимися мнениями, они слепо следуют прихоти своего гения. Это уже не логики: это, по большей части, литераторы или риторы.

Кроме этих несходств, мы должны указать другие, более значительные. Мы оценили влияние, оказанное во всех школах в начале тринадцатого века, введением «Физики» и «Метафизики» Аристотеля. Когда после взятия Константинополя бежавшие греки принесли на Запад сохранные книги Платона и александрийцев, во всех умах произошла другая революция. Схоластика со своим методическим, размеренным тоном казалась уже лишь рабской философией; дух исследования пренебрег проторенными путями и захотел пуститься в приключения. Таковы платонические манеры. Добавим, что сочинения Платона позволили лучше узнать мнения Гераклита и Пифагора и открыли внезапно увлеченному классической традицией уму совершенно новые области.

Нужно принимать в расчет эти различия. В сущности, материал философских споров всегда один и тот же; он мало изменился со времен Пифагора и Ксенофана: но способ философствовать меняется в зависимости от эпох, и каждая имеет свой особый характер.

История этого периода начинается очень живым спором между двумя греками, Георгием Гемистом Плифоном и Феодором Газа: первый – последователь Плотина; второй – защитник Аристотеля. Итальянцы слушают их с изумлением. Феодор не знает ни Авиценну, ни Аверроэса, и он толкует Аристотеля ясным, легким языком, не пользуясь никакими различиями; Гемист посвящает умы в тайны гнозиса. Какие новшества! Молодежь приходит в восторг и бежит ломать кафедры схоластических докторов. Эрмолао Барбаро, Анджело Полициано, Лоренцо Валла возглавляют эту революционную пропаганду. Молодой ученик из Лувена, Роллеф Гюйсман, известный под именем Родольфа Агриколы, приезжает в Италию послушать этих греческих докторов, чья слава уже пересекла Альпы. Едва он пообщался с ними, как объявляет себя их ревностным последователем и возвращается на родину преподавать новую диалектику. Вскоре вкус к этой новизне распространяется в Испании и Франции: в самом Париже некоторые молодые доктора проявляют так мало ревности к национальной славе, так мало благодарности по отношению к Парижскому университету, что аплодируют и принимают участие в этих декламациях. Вместо того чтобы повторять их, спросим себя, каковы были для философской науки выгоды или, по крайней мере, результаты этого движения.

Больше нет школ, больше нет дисциплины, философствуют в полной свободе: это начало своеволия. Своёволие приводит, в свою очередь, к величайшей путанице, страннейшей анархии.

Кардинал Николай Кузанский утверждает вместе с александрийцами, что, если божественная сущность не может быть познана человеческим интеллектом, она может быть постигнута, по крайней мере, как гармонический центр, где смешиваются и уничтожаются все различия; с другой стороны, он утверждает, основываясь на Пифагоре, что понятие чисел есть начало познания; наконец, он рекомендует, вместе с Секстом, возлагать посредственное доверие на утверждения человеческого разума, считать истину недоступной и довольствоваться во всем правдоподобным.

Марсилио Фичино, назначенный объяснять Евангелие флорентийской молодежи, рекомендует им с священной кафедры читать Платона. И что находит он наиболее обольстительным в платонизме? Неопределенность всех формул. Фичино не имеет системы, но он отдается всем вдохновениям, которые сообщает ему одинокое изучение книг, составленных божественным учителем. Его ученик, Джованни Пико делла Мирандола, увлекается еще дальше: он пытается примирить Аристотеля и Платона, и, пока он весь поглощен этой работой, его отважное воображение соблазняется видениями Каббалы; Каббала внушает ему вкус к астрологии, и он изучает тайны этой науки. Наконец, после тысячи обходов, он возвращается на свои шаги, спрашивает себя, какую цель он предложил, и предпринимает тогда, странный замысел! согласовать Орфея, Зороастра, Гермеса Трисмегиста, Платона, Евангелие, александрийцев, каббалистов и схоластов.

Вот теперь, вслед за Пико делла Мирандола, целая школа новых каббалистов и новых магов. Иоганн Рейхлин – их знаменосец: Георгий Венецианский, еще более смелый, воспекает тайны порождения и жизни в совершенно Спинозистском духе: Генрих Корнелий Агриппа начинает с того, что объявляет себя апологетом магии, и утверждает, что, далекая от того, чтобы способствовать нечестию, эта мнимая наука подтверждает, доказывает все теологические истины; затем, увлекаемый другим течением, вот он начинает отчаиваться в разуме, равно как и в опыте, и публикует против всех наук, против всех средств познания диатрибу более удручающую и безнадежную, чем афоризмы Секста. После него Филипп Бомбаст фон Гогенгейм, иначе Ауреол Теофраст Парацельс, ведет в пользу теургии и медицинского шарлатанства активную пропаганду, увенчанную огромным успехом. Средневековье едва уделяло внимание бредням Раймунда Луллия, и, когда Давид Динанский высказал первые формулы пантеизма, школа, равно как и Церковь, отступила в ужасе и осудила новатора. Но в пятнадцатом веке нет безумий, которые удивляли бы, нет нечестий, которые скандализировали бы: кажется, что все умы охвачены головокружением; и чем больше безрассудствуют, тем больше собирают аплодисментов.

Если, однако, толпа на стороне энтузиастов, все же встречаются несколько здравомыслящих людей, которые продолжают вести строгие занятия и ученые изыскания в области истинной науки. Они не смогли полностью защититься от влияния господствующего недуга: они отличаются, однако, от учителей толпы более достойной, сдержанной осанкой. Стоит их рассмотреть мгновение, как замечаешь, что они носят палиум с достоинством; стоит им открыть уста, как узнаешь, что они посещали большие школы и не невежественны ни в происхождении, ни в цели философского исследования. В этом числе нужно поместить сначала Пьетро Помпонацци из Мантуи. Просвещенный перипатетик, он не привязывается к букве учителя, но толкует его с большой свободой суждения. Это он поднимает этот вопрос, предмет споров, еще не исчерпанных: признавал ли Аристотель принцип бессмертия души? Помпонацци утверждает, что нельзя найти во всех писаниях Аристотеля ни одного аргумента в пользу этого принципа. Это мнение, которое недавно высказал г-н Бартелеми Сент-Илер, и оно кажется нам хорошо обоснованным. Добавим даже, что с перипатетической точки зрения душа, будучи лишь одним из элементов составного, другими словами, последним, конечным совершенствованием (энтелихией) некоторых тел, есть просто то, что сообщает им акт и жизнь. Однако акт имеет своим противоположным потенцию; и, если порождение определяется как переход от потенции к акту, разложение есть возврат в состояние потенции. В этом состоянии какой из элементов составного сохраняется? Очевидно, материя, поскольку материя всегда остается способной принять новую форму; следовательно, душа исчезает. Она исчезает и не считается более среди существ, поскольку, согласно Аристотелю, лишь субстанции суть сущие: а соединение души и материи дает субстанцию; их разделение уничтожает ее. Таким образом, не только Аристотель не доказывает бессмертия души, но все его определения идут против этого принципа. Открытие Помпонацци вызвало величайший скандал: он не защищал мнение Аристотеля; он боролся

с ним, говоря, что вера должна в этом деле восполнять молчание философии. На эти оговорки не обратили внимания; и, в то время как одни обвиняли его в оскорблении Учителя, изобличая его как еретика, другие упрекали его не менее горько в том, что он выдвинул великое имя Аристотеля, чтобы рекомендовать отвратительную доктрину. Его главными учениками были Порты, Скалигер, Агостино Нифо.

Главным результатом трудов Помпонацци было возвращение молодежи к изучению перипатетических архивов. Платоники допустили столько излишеств, что боялись следовать за ними: поэтому обратились к Аристотелю. Но энтузиазм и дух новизны от этого ничего не теряли: Аристотеля толковали так свободно, что скоро нашли в его книгах оправдание систем, которые он атаковал с наибольшей энергией. Мы укажем сначала самых умеренных перипатетиков. Первым представляется Леонико Томео из Венеции, ученик кардинала Каэтана. Этот последний, объявленный томист, старался удержать своего ученика на пути, проложенном великими докторами тринадцатого века. Едва освободившись от этой опеки, Томео объявил себя против схоластов; но он не менее усердно трудился над восстановлением того, что называл чистой логикой, чистой доктриной Аристотеля. Какова была эта доктрина? Мы сказали: Томео считается одним из самых осторожных перипатетиков шестнадцатого века. Что же! Чтобы толковать Аристотеля, он воспроизводит платоническую теорию естественного предвидения и предлагает как первую статью философского верования эту александрийскую и арабскую фикцию, которая должна иметь такой большой успех в шестнадцатом веке, тезис о мировой душе, определяющей все акты духов и тел посредством вторичных причин. Теннеман называет после Томео Якопо Дзавареллу из Падуи. Этот последний – не слепой хулигатель схоластики; он знает Дунса Скота, Эрве, Дюрана де Сен-Пурсена, так же как и святого Фому, и, когда приводит их, делает это с полным пониманием их различных мнений. Если, кроме того, как отмечает Теннеман, он иногда отступает от Аристотеля, он всегда остается, даже в этих отклонениях, верен великим принципам. Мы замечаем, кроме того, что вместо того, чтобы утверждать наобум, без гарантий, без размышления или без достаточных доказательств, Дзаварелла охотно приостанавливает свое суждение перед трудными проблемами и, обстоятельно их обсудив, часто отказывается делать вывод. Это осторожность, нечастая в шестнадцатом веке.

К другой секции перипатетизма, к секции горячих и безрассудных, принадлежит Акиллини из Болоньи, прозванный вторым Аристотелем. Его лучше бы назвали вторым Аверроэсом, поскольку он не делал ничего иного, как воспроизводил мнения этого философа. Он был одним из противников Помпонацци. После него Зимара вступает в тот же спор. Между партиями нет перемирия. Тогда видят, как появляется на сцене Джироламо Кардано из Павии, столь же знаменитый своими несчастьями и заблуждениями, как и дерзостью своего гения. Этот странный персонаж позаботился сам написать историю своей жизни и своих трудов, чтобы дать миру знать, какова была сумма его пороков, последовательность его безумий. Нужно прочесть его «Исповедь». Она содержит не только рассказ о некоторых трагических приключениях, описание некоторых катастроф, совершившихся в лоне ума, который лишь переходит от света к тьме и от тьмы к свету: история Кардано есть история всех философов его времени, и то, что он рассказывает о себе, могло бы быть рассказано о тех и других. Они, как и он, объездили мир, посетили все города, испробовали последовательно или одновременно все профессии: как и он, они попеременно жили в блеске и в нищете, и тот же год видел их лелеемыми, ласкаемыми князьями, приветствуемыми народными восторгами, – и брошенными в темницы по таинственным причинам, немедленно оскорбляемыми школой и забытыми толпой. Этот человек, чья восторженная, беспокойная мысль, неспособная к покою, принимает все доктрины, посвящает себя всем системам, обожает, а затем оскорбляет всех богов, даже бога совести, – это не индивид, это целое поколение философов. Чтобы дать краткий отчет о мнениях Джироламо Кардано, достаточно сказать, что он принял сторону Аверроэса и защищал

двойной принцип единства субстанции и единства движения: но ему нужно было бы посвятить несколько томов (что один из наших молодых ученых только что сделал для Джордано Бруно), если бы захотели рассказать, каковы были колебания его ума, запечатлеть все его иллюзии и все его отречения. Остановимся еще на нескольких именах, знаменитых в анналах этой столь дурно прославленной школы. Андреа Чезальпино, родившийся в 1519 году в городе Ареццо в Тоскане, сначала отличился лишь как один из противников схоластики. Позднее он изучал медицину; и, приведенный этим изучением к наблюдению феноменов жизни, он убедил себя, что нашел точное определение принципа всех субстанций. Что это за принцип? Это сам Бог. Он единственная причина, которая их производит; он единственная субстанция, единственный субъект, который их оживляет и сохраняет; он единственная цель, которую они ищут. В этом качестве он сила, субстанция по преимуществу, в которой смешиваются все другие категории; лестница существ начинается им и заканчивается в нем, и индивидуальные существования суть лишь преходящие формы, предназначенные разнообразить поверхность вечного основания, которое никогда не меняется. Вот теория Чезальпино. Это пантеизм со всеми его формулами! Можно было развить эту систему согласно предписаниям другого метода. Чезальпино не обладает суровой и острой аргументацией Спинозы; он не одушевлен, как последние ученики Гегеля, тем скептическим духом, который усаждает подкопом под основы всех верований: далеко от этого; это энтузиаст, который верит, что присутствует при гармоничном концерте феноменов и который во всех звуках, издаваемых этими бесчисленными инструментами, слышит голос Бога! Но, каков бы ни был метод Чезальпино, последнее слово его метафизики – тождество в абсолютном. Назовем, наконец, самого дерзкого и красноречивого из этих новаторов, этого мученика свободы мысли, который умер на костре в Тулузе в феврале 1619 года, – Луцилио Ванيني. Родившийся на территории Отранто, но ученик Падуанской школы, он приехал искать во Франции убежища от преследования, которое ему угрожало; он нашел там судей и палача!

В то время как на севере Италии говорят лишь об Аристотеле, чтобы толковать его столь странным образом, – на юге, в Неаполитанском государстве, объявляют себя с не меньшим пылом за Платона и александрийцев. Это Телезио ведет эту пропаганду. Он объехал все школы Италии и вынес оттуда отвращение ко всем практиковавшимся методам. Однако их рекомендуют именем Аристотеля: Телезио будет, следовательно, преподавать именем Платона. Это в своем родном городе, в Козенце, он устанавливает свою кафедру, и там развивает доктрину, наиболее противоположную той, что в «Метафизике», ту, которую Аристотель атаковал и осудил с наибольшим рвением и едкостью, – доктрину Парменида. Так, Чезальпино излагает пантеизм в Пизе и Риме как неизбежное следствие предпосылок, положенных Аристотелем; в Козенце Телезио производит его под покровительством Платона. Вскоре после того Патрици приходит проповедовать те же мнения в Риме, Ферраре, уже не как истинную доктрину древних мудрецов, а как наиболее продвинутый результат новой науки. Можно с тех пор констатировать, еще не услышав более положительных заявлений Джордано Бруно и Ванيني, что пантеизм есть в шестнадцатом веке система, которая преобладает в различных школах Италии. Некоторые доктора протестуют против этого вывода; другие принимают его лишь тайно и доверяют его лишь благоразумным ушам; большинство же, подчинив все вопросы поиску единства, слепо бежит к пропасти. Сколько людей, поглощенных среди густейшего мрака, провозглашают, что созерцают истинный свет!

Церкви следовало бы энергично бороться против этих тенденций; но тогда у Церкви на сердце были другие интересы, кроме религиозных. Когда поднимался какой-нибудь слишком смелый голос, она открывала темницу или воздвигала костер; но ей уже указывали, что жечь – не значит отвечать, и, в ожидании ее ответа, продолжали распространять мнения столь же про-

тивные догме, как и истине. Церковь, лишенная диалектиков, не отвечала. Меланхтон понял опасность всех этих бредней и дал понять ее Лютеру, который сначала проявил некоторую склонность к Платону. Было, следовательно, решено, что в лютеранских школах преподавание философии будет вестись согласно принципам Аристотеля, и Меланхтон позаботился составить элементарные сочинения, соответствующие этим принципам. Они имели огромный успех и вовлекли почти всю немецкую молодежь на перипатетические пути. Недаром Якоб Мартины назвал его *communis Germanice præceptor* (общий наставник Германии) (*Disp. miscell.*, p. 31). Это была великая услуга, которую Меланхтон оказал катехуменам новой Церкви, и мы не колеблясь скажем, что, если протестантские теологи показали себя в споре превосходящими большинство своих противников, они были обязаны этими успехами лучшему образованию, то есть более правильному суждению.

Но в ту эпоху не производится ничего, что не было бы немедленно оспорено. Мы только что сказали, как под диктатурой Филиппа Меланхтона философия Аристотеля получила преобладание в лютеранских школах. Скоро увидели, как из этих школ выходят ученые, которые практиковали другой метод и предлагали другие решения спорных проблем. Это не платоники, а стоики. Во главе их идет фламандец Юст Липсий, *Justus Lipsius*, родившийся в городке Исе близ Брюсселя 18 октября 1547 года. Юстус Липсий имеет меньше философии, чем литературы; он, однако, достаточно философ, чтобы хорошо оценить различие систем, объявить ту, которую предпочитает, и оправдать это предпочтение. Ему кажется, что слишком волновали вопросы логического порядка и что тонкости спорщиков загромождали подступы к науке, сделав их почти недоступными: таков упрек, который он обращает к перипатетической секте. Против платоников у него другие претензии. Слишком ревнивые, чтобы возвыситься над толпой, они презируют вещи этого мира и занимаются лишь божественными тайнами: их философия может, следовательно, подходить некоторому числу умов, любопытных путешествовать по областям неизвестного; но находят ли в ней правило нравов, искусство хорошо жить? Пора напомнить, что философия, лишенная моральных выводов, есть неполная наука, если не суетная игра воображения. Таковы пролегомены Юстуса Липсия. Он затем вступает на путь стоиков, излагает, развивает, рекомендует их моральные максимы и пытается, наконец, примирить их теологию с христианской теологией. Это предприятие имело некоторый успех. Среди учеников Юстуса Липсия называют Гаспара Шоппе и Томаса Гэтакера.

Покинем теперь Германию и вернемся во Францию. Франция была родиной схоластики; когда вспыхнула платоническая реакция, Париж вдруг увидел, как покидают его великие школы, и защитники старого метода были осыпаны оскорблениями. Центр философского движения был уже не во Франции, а в Италии. Другие причины иного порядка, гражданские войны, религиозные войны, пришли в то же время способствовать тому же результату: приостановке занятий.

Они возобновились с Рамом. Рам, или скорее Пьер де ла Раме, родившийся в 1515 году в Пикардии, вознамерился обновить все философское изучение. Он начал с воспроизведения декламаций Вивеса, Валлы и Родольфа Агриколы против схоластической традиции, не пощадил Аристотеля и рекомендовал чтение Платона. Но это было лишь предисловием: молва скоро дала знать, что он только что дал школам новую логику. Однако, когда получили в руки маленькую книгу новатора, не преминули вернуть ему оскорбления, которые он расточал другим. Это стало началом очень страстного спора. Поскольку он далек от нас, мы можем с большим беспристрастием оценить предприятие и личные заслуги Рама. У него был открытый ум, живой дух, тонкое суждение; но, с другой стороны, он был самонадеян, вспыльчив и не имел достаточного образования. Чего он сначала добивался, так это упростить и популяризировать

изучение философии: он был бы ближе к достижению этого результата, если бы насильственность его языка не навлекла ему меньше врагов. Нельзя, однако, отрицать, что, ведя войну против софистического пустословия, он оказал заметные услуги истинной философии. Его ученики, которых было довольно много в Германии и Англии, приняли его имя и были названы рамистами: он, следовательно, имеет титул главы школы. Он встретил как прямых или косвенных противников: Мария Нидзолия, Антуана де Говеа, Жака Шарпантье. Нидзолий, самый абсолютный, самый нетерпимый перипатетик, какой, возможно, когда-либо встречался, писатель, полный ума, полный воодушевления, но мало знающий схоластические архивы, бичевал неумолимыми сарказмами всех докторов предшествующих веков, не щадя даже тех, кто не имел по спорным проблемам других мнений, кроме своих. Если спросить Нидзолия, к какому философу нужно обратиться, чтобы узнать путь, ведущий к истине, он ответит, что те и другие его не знают; что все они шарлатаны, а не ученые. Хотите доказательство? Вот оно. Если бы они знали просто грамматику, разве отклонили бы слова от их истинного смысла и принимали бы определения, местоимения и даже наречия за существительные? Однако это то, что они все сделали с большей или меньшей опрометчивостью. Пусть Аристотель доказывает заблуждение Платона; пусть ученики Платона обвиняют надменность и недостаточность учеников Аристотеля; пусть! но им еще предстоит предстать, платоникам и перипатетикам, перед другим судьей, перед Квинтилианом, и тот осуждает их всех на одно наказание как виновных в одинаковых преступлениях. – Антуан де Говеа, родившийся в Беже в Португалии около 1505 года, был одним из тех людей, способных на все предприятия, каких встречают в таком большом числе в шестнадцатом веке. После того как он стал известен галантными стихами, он изучал юриспруденцию и, позднее, философию. Он был в Париже в тот момент, когда Рам осыпал бранью Аристотеля и его латинских комментаторов. Молодежь аплодировала; ветераны Университета подавали несколько ропота, но не осмеливались связываться с противником столь живым, столь опасным, как Рам. Говеа принял их защиту. Посредственный философ, но страстный писатель, он повысил тон настолько, чтобы смутить Рама. Немедленно он снискал приверженцев, которые под его водительством вели жестокие бои с вражеским легионом. История этой памятной борьбы записана не только в анналах Университета, но и в анналах Парижского парламента. Призванный перед этим трибуналом как виновный в том, что внес смуту в Государство своими богохульствами против логики Аристотеля, Рам был осужден. Говорили о том, чтобы отправить его на галеры: Франциск I счел, что достаточно наложить на него публичный выговор. – Жак Шарпантье, родившийся в Клермоне в Бовези в 1524 году, завершал в Париже свои философские занятия, когда дело Рама занимало все умы. Едва получив докторскую степень, он бросился на арену, вызывая последователей Рама. Более умеренный и более ученый, чем Говеа, Шарпантье оставил сочинения, чтение которых еще полно интереса. После того как Рам был убит в роковую ночь 24 августа 1572 года, не преминули сказать, что это гнусное преступление было совершено его соперником; но это обвинение лишено доказательств. В конце этих споров можно было признать, что, несмотря на талант и пыл Рама, платонизм не снискал много прозелитов в Парижской школе. Это, в самом деле, доктрина, не подходящая французскому духу. Иногда можно будет (ибо он непостоянен) соблазнить его и увлечь на этот путь; но, предавшись некоторому разгулу с Платоном, он всегда вернется к Аристотелю. Добавим, что временные немилости Аристотеля были чаще выгодны во Франции скептицизму, чем платоническому догматизму. Это увидели в шестнадцатом веке. После смятения, свидетелями которого мы были, какие доктора привлекают внимание молодежи? Это объявленные пирронисты, Монтень, Шаррон и их любезный кортеж вольнодумцев.

Мишель де Монтень, родившийся 28 февраля 1533 года в замке Монтень в Перигоре, был третьим ребенком старого дворянина, богатого имуществом и весьма оригинального. Этот отец, ни на кого не похожий, захотел сначала, чтобы его сына Мишеля держали на купели

крещения простолюдины, чтобы обязать его и привязать к тем, кто мог нуждаться в нем, скорее, чем к тем, в ком мог нуждаться он сам. Затем он велел воспитывать его в бедной ферме самым странным образом, не желая, чтобы ему еще давали книги в руки, но желая научить его с самого юного возраста, что никогда не бываешь счастлив и свободен, если не умеешь жить малым. Это была практическая философия. Это воспитание не нашло в юном Мишеле упорного субъекта; оно могло лишь развить то, что составляло основу его характера, веселость и беззаботность. Также, когда позднее его поместили в коллеж Гиень, он не показал себя там хорошо и вышел оттуда, зная немного обо всем, но не научившись ничему достаточно. Он лишь отведал первой корки наук. Когда затем ему заговорили о философии, он охотно согласился читать Плутарха и Сенеку, но очень энергично отказался грызть ногти над изучением Аристотеля, монарха современной доктрины; и, как в грамматике он никогда не хотел знать, что такое прилагательное, союз и аблатив, так в философии он заткнул уши для всех слов, которых нельзя понять без некоторого изучения. Таковы были первые годы Мишеля де Монтеня. Также позднее он не преминет разразиться инвективами не только против уклонов схоластики, но и против всякого диалектического ученичества, всякого доктринального преподавания: «Велико дело, – говорит он, – что вещи дошли у нас до такой степени, что философия стала, даже для людей разумных, пустым и фантастическим именем, которое не находит применения и ценности ни по мнению, ни по действию. Я думаю, что причиной тому ее спорщики, которые захватили ее подступы. Очень виноваты те, кто изображает ее недоступной для детей и с нахмуренным, грозным и страшным лицом. Кто натянул на нее эту бледную и отвратительную маску? Нет ничего более веселого, бодрого, забавного, и чуть ли не сказал бы – шаловливого. Она проповедует лишь праздники и добрые времена. Это *baroco* и *baralipton* делают их приверженцев такими замаранными и закопченными; не она: они знают ее лишь по слухам». Это скептицизм будет последним словом этой пропаганды в пользу философии бодрой, почти шаловливой; и, слишком легко соблазненная такими речами, молодежь охотно покинет под водительством этого нового доктора тернистые тропы изучения, чтобы усладиться общением с поэтами и обращать в насмешку печальное чело логиков. Так авторитет разума был оспорен, и его империя скомпрометирована. Это служит в Италии делу энтузиазма, то есть безрассудства; во Франции это производит скептиков. Одни и те же причины имеют иногда, в зависимости от мест, различные следствия.

Мы закончим здесь эту краткую номенклатуру главных учителей пятнадцатого и шестнадцатого века. Бэкон вот-вот появится на сцене, и начнется новая эра. Один из историков философии, Теннеман, справедливо оценил истинный характер этого периода, называемого Возрождением, определив его как эпоху интеллектуального брожения. Ум действительно получил тогда большой размах, и никогда, возможно, он не был в той же степени одержим духом новизны, духом приключения. Какое смятение в лоне Церкви! Уиклиф, Ян Гус, Лютер, Кальвин и, рядом с ними, мириады сектантов волнуют Европу до основания, взывая к свободе совести, до того содержащейся в рабстве римским самодержавием: слышны лишь тысяча голосов бури и грохот рушащихся зданий; видны лишь скрещенные огни молний; чувствуются лишь судорожные движения земли, кажущейся близкой к обвалу, чтобы поглотить разом старое и новое поколение! Среди такого урагана как могла бы сохраниться дисциплина школ? как преподавание философии могло бы идти своим регулярным курсом? Теннеман признает, впрочем, что этот период брожения, кипения был также периодом анархии. Выдающиеся философы Возрождения насчитывали вокруг себя лишь небольшое число учеников, и едва эти ученики получали знаки магистерства, как начинали говорить от своего имени и распространять новые выводы. Эта чрезмерная потребность в независимости может, без сомнения, иметь некоторые счастливые результаты; но, с другой стороны, она имеет и досадные, поскольку вносит смуту в умы толпы. Ведение всех умов принадлежит философии; это она учит их правилу и показывает

цель: толпа должна идти по борозде, которую проводят ей философы. Однако, как могла бы она знать, кого слушать, когда смятение во всех школах, когда производится столько различных, противоречивых систем, сколько есть кафедр и докторов? Во времена схоластики было лишь две секты, между которыми встал как посредник партия альбертистов и томистов. С первой половины тринадцатого века преобладание было приобретено этой третьей партией; и, пока спор продолжался между метафизиками в высоких областях науки, мир царил в подчиненных областях. Также нам не нужно собирать свидетельства историков, которые утверждают нам об огромных результатах схоластики: она имела Францию своей родиной, и французский дух обязан ей лучшим, что у него есть, – силой и удивительной тонкостью своей логики. Добавим, что, если французский язык – самый простой, самый правильный, самый философский из современных языков – а уже давно указывали, как велико влияние хорошо сделанного языка, – он обязан этими преимуществами суровым испытаниям, через которые схоластические различия провели во Франции создателя языков – суждение. Философия Возрождения имела блеск, она производила дерзкие системы, она проявляла великодушные тенденции, она показывала, как высоко может подняться ум, освобожденный от всякого принуждения; но нельзя сказать, чем обязаны ей современный дух и наука, поскольку Бэкон ничем ей не обязан.

ХИМИЯ И АЛХИМИЯ.

Как правило, наука занимает своё место в энциклопедическом древе человеческих познаний с того дня, когда какое-либо великое открытие, определяя путь, по которому она должна следовать, позволяет предугадать уготованную ей судьбу. До этого момента не восходят. Продолжают применять новые теории, не вспоминая о тяжких усилиях, предпринятых в былые времена для их достижения, не заботясь о столь многих людях, павших в трудах при поисках неизвестного.

Возникнув из ума Лавуазье подобно молнии, пронзающей тучи, Химия сразу же обрела среди наук то высокое положение, которое она занимает. Из всех путей, открытых перед ней, ни один не вёл в прошлое. Сомнение поколебало старое здание. Анализ переделал то, что уже сделал анализ. Абстракция, группируя открытия таким образом, чтобы вывести из них общие законы, придала современным манипуляциям значимость, которой никогда не обладали манипуляции Средневековья.

Однако, от Шали, образцового экспериментатора, до Галена, сколько важных открытий, оригинальных и плодотворных идей, ценных применений вышло из тиглей химиков!.. Пять тысяч жизней истощились таким образом; пять тысяч трудолюбивых воображений искали таинственные связи, установленные между неорганической и органической материей, а также сокровенные соединения материи с самой собой. Эти исследования, почти всегда секретные, основанные на тщательном наблюдении, представляют собой поистине серьёзную сторону Средневековья. В них, правда, примешано множество суеверных и причудливых верований, а также безумств; ибо до каких пределов не доходила мечтательная фантазия наших отцов? Мы оставим в стороне их интеллектуальные заблуждения, чтобы заняться исключительно последовательностью открытий и порождением идей, которое было их неизбежным следствием.

В первые века христианской эры Химия, Физика, сведённые почти во всё к чисто спекулятивным теориям, объединялись под названием божественного искусства, священного искусства, священной науки со всем комплексом трансцендентных теорий, составлявших высокую философию. Употреблённое, по всей видимости, впервые Суидой в его «Лексиконе», слово *Химия* (*Chemia*) обозначает лишь сплав золота и серебра. Суида добавляет, что Диоклетиан, разгневанный восстанием египтян против законов Империи, наказал их, приказав предать огню все их книги, трактовавшие о Химии, дабы лишить их источника богатств и остановить мятеж. При слове *δεφας* (*дефас*) тот же лексикограф утверждает, что Золотое руно, завоёванное в Колхиде аргонавтами, было не чем иным, как свитком папируса, на котором был записан секрет изготовления золота посредством Химии.

Мы не придаём ни малейшей исторической ценности этим анекдотам, хотя первый из них обладает некоторым правдоподобием. Но мы считаем себя счастливыми констатировать, по самому тексту древнего автора, природу и пределы Химии дохристианской эры.

Цитируемая Скалигером рукопись Зосимы говорит о Хеме (*Chema*), драгоценной книге, в которой гиганты, эти сыны Ангелов, сочетавшиеся со смертными женщинами, записывали свои художественные теории, откуда главная наука, наука-мать, получила бы название *Chemia*.

Святой Климент Александрийский, отец Церкви, очень продвинутый для своего времени в физико-химических познаниях, передаёт предание, сходное с преданием Зосимы (*Строматы*, кн. V), но слова *Chemia* он не упоминает.

Роман *О Совершенной Любви*, который христианский философ Афинагор сочинял около 96 года от Рождества Христова, содержит различные операции герметической науки, доказывающие, что тогда ею серьёзно занимались.

В IV веке Александр Афродисийский, выдающийся комментатор трудов Аристотеля, говоря о кальцинации и плавке, упоминает некие *хищеские* или *химические* инструменты; и среди этих инструментов – тигель, чьё использование не оставляет сомнений.

Учёный г-н Гофер, которому мы обязаны столь мудрыми статьями, помещёнными в «Современной энциклопедии», полагает, что этимология существительного Химия – $\chi\acute{\epsilon}\omega$ (*хэо*), лить, плавить, откуда образовались греческие выражения *хищеские* или *химические инструменты*, употреблённые Александром Афродисийским.

Итак, вот слово Химия, введённое в научную классификацию Поздней Империи, тогда как нужно перешагнуть ещё через столетие, чтобы встретить другое слово, отвечающее новому сочетанию идей или операций, – слово Алхимия.

Если человек рождается под влиянием Меркурия, говорит астролог Юлий Фирмик, он будет заниматься астрономией; если под влиянием Марса – предается военному ремеслу; но если Сатурн председательствует в его судьбе, одна лишь Алхимия (*scientia Alchemicæ*) будет иметь для него прелесть. Фирмик употребляет множество греческих и латинских выражений, соединённых с арабскими и халдейскими словами; и технический термин Алхимия появляется с халдейским добавлением – артиклем *ha*, или *hal*, присоединённым к корню *Chemia*. Однако это новое слово, иного происхождения, говорит больше, чем диссертация: это священное искусство, *Chemeia*, искусство философов Александрийской школы, преобразованное под влиянием сарацинской цивилизации, начинавшей водворяться в мире.

Академия в Багдаде, основанная Аль-Мансуром, соперничала в блеске с христианской школой в Джондишапуре. Знаменитые халифы – Харун ар-Рашид, Аль-Мамун, Аль-Мутасим, Аль-Мутаваккиль, восстановивший из руин Библиотеку и Школу Александрии, – придали наблюдательным наукам, экспериментальному методу благотворный импульс. Постепенно освобождались от теософских воззрений, слишком долго направлявших восточных философов; искали нечто иное, нежели химерическое превращение металлов, и применение в искусствах и медицине вновь открытых соединений придало практическую ценность операциям науки.

С VIII по IX век Аль-Хиндус, чьи достоинства, слишком принижены Аверроэсом, были восстановлены Карданом, заслуживал быть причисленным к магам, то есть к этим искусным экспериментаторам, которые вопрошали природу и вырывали у неё несколько секретов. Около того же времени сабиянин Джабир, писатель почти невразумительный, до того он запутывал свою мысль странными выражениями, определённо указывал на различные полезные препараты: красную окись и двухлорид ртути; азотную кислоту; соляную кислоту; азотнокислое серебро и т.д. Бургаве ценит его как химика; и когда английский доктор Джонсон говорит нам, что слово *gibberish* (тарабарщина) происходит от Гебера, который преуспел в этом роде, он недостаточно учитывает отсутствие выражений, применимых к столь новой науке, и трудность согласования её с религиозными скрупулами ислама. К счастью для экспериментаторов, большинство халифов толковали закон Пророка в смысле, благоприятном для науки. Как только открывалось новое вещество, медицина и искусства могли его применять, но никогда без предварительного разрешения правительства, регулировавшего его использование. Существовал кодекс лекарств и ядов. Когда в IX веке Сабит ибн Сахл, руководитель Школы в Джондишапуре, опубликовал свой *Карабадин*, или Магистральный диспенсарий, он лишь привёл в надлежащий порядок то, что ранее установила полиция.

С равнин Ирака и Египта, с западных берегов Африки Химия последовала за другими науками в Испанию. Кордова, Севилья, Толедо, Мурсия, Гранада предложили богатые лаборатории, где экспериментальному искусству пришлось бороться с придиричивой диалектикой арабов, с их системой эманаций и с мусульманским суеверием. Именно медицина, из всех наук, оказала наибольшую помощь Химии идеями могущественной поддержки, которую надеялась от неё получить. Правила, установленные Яхией ибн Сарапионом для приготовления лекарств,

свидетельствуют о прогрессе не только в искусстве составления формул, но и в искусстве выделения некоторых минеральных начал, существования которых греки и не подозревали. *Материя Медика* Абенгуэфиса и *Хауи* Мухаммеда ибн Закарии Абу Бакра ар-Рази, или Разеса, дают верное представление о ресурсах, которые искусство врачевания извлекало из Химии в конце IX века. Эти два труда, составленные в Ираке, вскоре пересекли континент; они посвятили арабов Испании в успехи восточных учёных и стали терапевтическим кодексом, входящим в употребление.

Разес написал двенадцать книг о Химии; он сделал ещё лучше – использовал влияние, которое давал ему титул руководителя занятий в Багдаде и Рейе, чтобы удержать последние на экспериментальном пути, слишком долго остававшемся в пренебрежении. Тайное искусство Химии, говорил Разес, скорее возможно, нежели невозможно: его тайны открываются лишь силой труда и упорства; но каков триумф! когда человек может приподнять край покрывала, скрывающего природу.

Среди прочих новых соединений, о которых говорит Разес, находятся аурипигмент, реальгар, бура, некоторые соединения серы с железом и медью, ртути с кислотами, мышьяка с различными веществами, не использовавшимися до него. Немалое удивление вызывает то, что Разес рекомендует различные спиртовые препараты и животные масла, такие как масло муравьёв, превозносимые нашими современными химиками как лекарства их собственного изобретения.

Однако, далеко не всё, что арабы знали в Химии, содержится в *Хауи*, этой подлинной медицинской энциклопедии; это наука, увиденная с одной стороны. Её применения в металлургии, докimasии, искусствах роскоши и удовольствия, в процессах, имевших целью плавку металлов, изготовление бытовой посуды, украшение зданий, мебели и оружия, – всё это остаётся погребённым в глубине могилы тех поколений художников, чьё неизвестное существование обозначают лишь их творения. Внимательный взгляд, скользящий вдоль музеев Эскориала и Палермо, где сарацинское и мавританское мастерство, кажется, бросает вызов современному, скажет больше, чем том.

Аль-Мелькый сына Яссера; *Канон* Авиценны; книга Абдуррахмана Мухаммеда ибн Али ибн Ахмеда аль-Ханиси; *Сафер Эснасарум* Исхака бен Сулеймана; сочинения Младшего Серапиона и Месуэ, сына Хамеша, содержат любопытные детали о приготовлении, дозах, введении лекарств, а часто и об обычных процессах различных полезных искусств, которые свидетельствуют о прогрессе и время от времени отмечают некоторые открытия. В них придерживаются физических качеств веществ; пытаются расположить их методично; уже даже начинают проглядывать, особенно у Месуэ, начала классификации, в высшей степени философской, обесмертившей имя Линнея.

В ту отдалённую эпоху Химия находилась среди наук, составлявших совокупность натурфилософии, именованной персами *Мудростью*; иудеями – *Каббалой*; европейцами – *Физикой* и *Магией*. В своей книге о разделении человеческих знаний Авиценна ставит Химию непосредственно после Медицины и перед Астрономией, которая долгое время оставалась смешанной с судебной астрологией и Математикой: *Vulgus autem, –* говорит Авл Геллий, *– quos gentilitio vocabulo Chaldaeos dicere oportet, Mathematicos dicit* (Обыкновенно же тех, кого по-язычески следовало бы называть халдеями, называют математиками).

Человек, чья хирургическая слава заставила забыть, чем ему обязаны Химия и Фармация; который сам готовил свои лекарства и инструменты; который при изготовлении последних благоразумно предпочитал железо любому другому металлу, считавшемуся более благородным; Абуль-Касим, или Альбукасис, своим независимым умом, практическим применением своих идей возвестил, что новая эра должна родиться среди туманных тонкостей ислама. Эта научная эра, пророком которой был Альбукасис; понтификами которой стали Авензоар и Аверроэс. Авензоар не принимал без предварительного изучения доктрины галенизма; Авер-

роэс склонялся к Аристотелю, и, удивительное дело, видели, как возрождается в новых формах пантеизм древних греков. Тем не менее, *Куллият* Аверроэса менее примечателен целостностью новых идей, нежели перипатетической манерой связи теорий. Экспериментальное искусство, Химия и её печи не забыты; но диалектика философа из Стагиры вновь занимает своё место на плодородных полях наблюдения.

К несчастью, среди мрака Средневековья дух не мог следовать какому-либо направлению, не будучи увлечённым за пределы границ. Теология завладела диалектикой; схолиасты взяли верх над экспериментаторами; предпочитали мистические идеи святого Фомы Аквинского серьёзным идеям доминиканца Альберта фон Больштедта (Альберта Великого) и Герберта Овернского. Искусство этих двух людей в металлургических искусствах едва не стоило им жизни. Кричали о колдовстве; но для каждого из них схолиаст спасал химика.

Отметим мимоходом удивительную дух оценки римского двора, который, не принимая в расчёт народные суеверия, идёт искать в глубине его кельи скромного монаха, чтобы сделать его учителем священного дворца, затем архиепископом Регенсбургским; и покажем этого же монаха, уставшего от величия почти сразу, как он его вкусил, возвращающегося в уединение монастыря, дабы продолжить там свои труды. Вокруг него всё стало чудесами или дьявольщиной. Имя Альберта поразило самые дальние эхо; стекались со всех концов света, чтобы посоветоваться с ним об искусствах, для которых необходимы химические продукты; вырывали друг у друга его рецепты; тысячи каллиграфов копировали его рукописи, и потомство, утратившее память о доминиканце-архиепископе, всё ещё помнит Альберта Великого.

Далеко не все монархи рассматривали интересы науки с точки зрения столь же высокой, как некоторые папы. Тем не менее, король, чья память не нашла ни милости, ни прощения перед философизмом прошлого века, Людовик IX дал в наставники собственным детям Винсента де Бове, Плиния Средневековья, который вопрошал древних, когда со всех сторон осуждали их труды; который осмеливался говорить, что хорошая медицина должна обязательно опираться на семь свободных искусств, и который, отстраняясь от праздных споров, манипулировал у паперти Сент-Шапель. Нежная набожность королевы Бланки, высокий разум короля защищали Винсента от крикливых нападок низшего духовенства; но ни королева, ни король не могли помешать любопытным парижанам приходиться ночью вдоль Гревской площади, склоняться внимательно над рекой и смотреть, не увидят ли они знакомого демона, с которым Винсент советовался под мрачными сводами Дворца.

Примерно в ту же эпоху жил алхимик Раймунд Луллий, чья странническая жизнь была куда более бурной, нежели жизнь доминиканца Винсента де Бове. Правда, Раймунд Луллий желал властвовать над совестью. Неудивительно тогда, что совести восстали против него. Если бы он не нашёл способ изготовить, в пользу Эдуарда, короля Англии, шесть миллионов фальшивой монеты (*sex auri milliones a se confectos*), с помощью которых Эдуард вёл войну против неверных, то не в 1315 году, в возрасте 80 лет, а гораздо раньше его бы побили камнями или повесили. Впрочем, эта трагическая кончина чудесно послужила ученикам Раймунда Луллия, которые под именем луллистов и иллюминатов скрывали, благодаря престижу чёрной магии, свои опыты химического экспериментирования. Они превозносили добродетели учителя, страдания мученика; они внушали народу, что он появляется в определённые дни, в определённые часы; что он приносит наиболее ревностным секреты неба и искусство превращать в золото низкие металлы. Число верующих стало значительным. Их химерические надежды служили луллистам точкой опоры, ибо в Средневековье умели ждать; и магистрат, и духовенство щадили секту, с которой оказались связаны многие выдающиеся люди. Она была многочисленна, особенно в Германии. Её собрания, проводимые с таинственной обстановкой, происходили главным образом в гористых местностях, поблизости от рудников, где дикая суровость почвы гармонировала с таинствами Великого Делания. Полагают, что розенкрейцеры сменили луллистов.

Арнольд де Вилла-Нова, современник Раймунда Луллия, не был, как говорит Нодэ, невежественным *frerot* или бегином, жалким и бродячим химиком; но самым учёным врачом эпохи. Сведущий в восточных языках, математик, физик, философ, он вопрошал природу как анализом, так и наблюдением. Будучи преследуем в Париже, преследуемый как маг, король Сицилии Фридрих и папа предложили ему убежище. Тогда увидели, странное дело, как блистает в Ватикане, под покровительством Святого Престола, человек, которого французские демонографы вынудили удалиться в изгнание.

Альберт Великий и Арнольд де Вилланёв – две великие персонификации экспериментального искусства в Средневековье; того искусства, которое избегало подозрений невежества, ярости фанатизма лишь благодаря тому, что практиковалось при дворах королей или под криптами соборов. Диалектики не менее искусные, чем глубокие наблюдатели, оба избрали столицу Франции для публичного преподавания. Мгновенные, неожиданные продукты их печей, их парадоксальные мнения возбудили ревность одних, пугливую совесть других. Тем более сожалеешь, видя, как они принимают догматы теософии, ибо именно этим же догматам, отмеченным ересью, они обязаны злоключениями, которые претерпели; и ложная теория часто препятствовала рациональному применению открытий, исходивших от них.

Роджер Бэкон, самый обширный ум, которым когда-либо обладала Англия, пришедший после Арнольда де Вилланёва и Альберта Великого, избрал лучшее направление. Он размышлял в молчании; размышлял долго, прежде чем экспериментировать, прежде всего – прежде чем указать аналитические процессы, принадлежащие ему собственно. Счастливым и вдохновлённым, если бы он всегда так поступал! но он захотел преподавать, и блеск кафедры стал для него роковым. Не имея другого защитника, кроме своего гения, окружённый монахами, которые за ним наблюдают; обвинённый, истязаемый, осуждённый, Бэкон заплатил десятью годами строгого заточения за преступление быть непонятым и опережать свой век: как если бы новым идеям нужно было испытание мученичеством, так же как новым соединениям – испытание огнём!

Сальвино дельи Арматти только что изобрёл способ придать стеклу линзообразную форму. Захватив это открытие и применив его к астрономии, Бэкон создаёт ахроматические линзы и телескоп; он таким образом открывает двери неба будущим наблюдателям; в то время как из селитры, до тех пор применявшейся лишь в медицине, он образует порох и начинает целую стратегическую революцию. Безусловно, Бэкон не предвидел безмерности результатов, к которым приведут его изобретения; но он установил принципы, признал общие законы, и из этих принципов и законов, как он сам говорил, должен был немедленно возникнуть комплекс неожиданных фактов.

Когда начался XIV век, Англия, Германия и Франция уже произвели, таким образом, трёх существенных людей, предоставили три интеллектуальных рычага, которые, подобно рычагу Архимеда, поколебали бы мир, если бы нашли достаточную точку опоры. Бэкон был тем, кто обладал наивысшим разумом, глубочайшей наукой; все трое преподавали, и их речь электризовала тех, кого простая, совершенно обыденная истина не поразила бы; особенно когда Бэкон рассказывал о чудесах неба, правильном движении планет, и когда Арнольд де Вилланёв показывал изумлённым парижанам то медные пластинки, которые с помощью дьявола он только что превратил в серебро; то серебряные пластинки, которые он только что превратил в чистое золото. А между тем, нужно было лишь растворить вместе виннокислый калий и буру, смешать этот раствор с сублиматом и произвести сублимацию полученной соли на серебряной пластинке, подвергнутой эксперименту: она мгновенно принимала цвет золота, и зрители кричали «Ноэль!». Увы! чтобы опровергнуть учителя, разочаровать учеников, достаточно было бы немного азотной кислоты, разбавленной водой, и золото исчезло бы!

Инквизиция сожгла книги Арнольда де Вилланёва, предварительно опорочив его память. Благодаря папе Клименту V, *Rosarius philosophorum* и *Flos florum* были пощажены. Это произ-

ведения Алхимии, почти невразумительные, среди которых, тем не менее, при хорошем поиске можно найти различные любопытные указания о процессах *Ars magna*; об искусстве группировать вещества и распознавать их свойства по внешним формам, которые они представляют. Сочинения Альберта Великого, бережно сохранённые в Кёльне, где он умер, собранные в 21 фолиант, питали в течение полувека деятельность рейнских типографий, без того чтобы наука извлекла из этого большую пользу. Что же касается *Opus majus* Роджера Бэкона, то он получил под защитными сводами Ватикана почётное гостеприимство, которого заслуживал.

Раймунд Луллий, Альберт Великий, Арнольд де Вилланёв, Роджер Бэкон породили множество учеников более или менее выдающихся, добавим даже, более или менее доверчивых или фанатичных. Те из них, кто приносил теософию в жертву перипатетическим доктринам, отвергавшим химерическое превращение металлов, были на верном пути; но истина оставалась бесплодной, потому что они пренебрегали манипуляциями; с другой стороны, теософы-экспериментаторы почти не извлекали выгоды из своих открытий вследствие каббалистических мечтаний, которым они предавались.

Уже в течение XIV века благоразумные врачи не принимали ни всех химер, ни всех составов алхимиков. Прибегали к их снадобьям с тем большей сдержанностью, что они делали из них монополию, и что, почти все будучи чужды искусству врачевания, они не устанавливали ясным образом дозы лекарств.

Джентиле да Фолиньо был одним из первых, кто отделил плевелы от доброго зерна; кто взял у алхимиков то, что они предлагали действенного; кто точно определял дозы вновь открытых лекарств и вводил их в *materia medica*, образованную из греческой фармакопеи и арабской фармакопеи. Его труд о дозах и лекарственных пропорциях может рассматриваться как свод медицинской Химии, представляющий в истинном свете, с научной точки зрения, совокупность практических идей эпохи.

Антонио Гуайнери, врач-профессор из Павии, умерший в 1440 году, был ещё более ясен, чем Джентиле да Фолиньо. Он отверг Алхимию, скомпрометированную тщетными схоластическими тонкостями; но использовал её открытия при приготовлении некоторых лекарств, в частности, искусственных минеральных вод, рецепт которых он дал ясно (*Opus præclarum ad praxim*. Лион, 1534, in-4°, fol. 17, 29, 192). *Materia medica* Саладина д'Аскуло, та же венецианца Ардуино ди Пезаро, написанные около середины XV века, представляют двойное преимущество: подводят итог практическим знаниям эпохи и указывают на минеральные вещества, такие как ртуть, осаждённая сама собой (*per se*), вышедшие недавно из тигля Алхимии.

Досадно, что аналогичные трактаты не существуют для других отраслей человеческих знаний, где Химия становилась необходимой; ибо можно было бы расположить в последовательности прогрессивную историю науки; но крупные компании, эксплуатировавшие подземную металлургию, начальники мастерских, отливавшие пушки и колокола, изготавливавшие стекло и эмали, расписывавшие металлическими окисями, соединёнными со стекловидным веществом, – все эти люди больше практиковали, чем писали, и могила погребала их секреты, если какой-либо ученик не был там, чтобы собрать их, как последнюю волю, из уст умирающего. Сколько остроумных процессов утрачено таким образом! сколько счастливых эффектов, причина которых скрыта и которые породил случай!

Алхимики приступали к поискам Великого Делания или металлургическим операциям, требуемым искусствами, либо в глубине лесов, либо в криптах соборов. Они заимствовали у герметической философии, у пифагорейских доктрин символические формы, знаки, числа, посредством которых понимали друг друга; и в то время как одни, более продвинутые или более смелые, прибегали к опыту, манипуляциям лишь затем, чтобы возвыситься затем до психологических теорий, другие культивировали само искусство без иных взглядов, кроме взглядов непосредственного применения к обыденным нуждам.

Вечный союз мужского начала с женским началом, или, что то же самое, активного начала с пассивным началом, союз, который воспроизводится в древнейших философских системах, составлял мир алхимиков. Этот мир, полностью минеральный, раздваивался на два неделимых высших агента, а именно: агент мужской (*arsenic*), слово, чей буквальный смысл выражает действие; и агент женский, медь, посвящённая Венере. Однако каждый знает, что мышьяк своим сплавом с медью производит металл белесого вида, похожий на серебро, и который предлагал, по крайней мере внешне, решение главной проблемы алхимиков – превращения низких металлов в благородные.

Исходя из древней идеи, что вода есть начало всех вещей, алхимики также пожелали обладать водой, которая была бы их собственной и гармонировала с порождающими элементами их минерального мира. С этой целью они приняли ртуть, воду тяжёлую, воду философскую, наделённую тем же видом, тем же блеском, что и мышьяковистая медь, не соединяющуюся со всеми телами, но лишь с привилегированными телами.

Алхимики действовали без метода, без учёной теории. Что они могли сделать, допуская, *a priori*, моральную ценность металлов, существование простого, исключительного, неразложимого тела и химеру всеобщей панацеи, которую они искали с жаром? Они брали одно за другим вещества, которые предоставляли им три царства; обрабатывали их огнём, водой; сочетали их вместе; скрупулёзно отмечали отдельные явления, которые представлялись; затем пытались согласовать эти явления со своими идеями; дать продуктам применение, соответствующее внешним качествам, которые поражали в них. Это не вело далеко. К счастью, случай, обычный производитель самых удивительных открытий, приходил время от времени на помощь Алхимии и извлекал из неё несколько неожиданных откровений.

До Возрождения из тигля алхимиков уже вышли, независимо от веществ, указанных в ходе этой главы, висмут, серная печень, сурьмяный королёк, летучий фтористый щёлочь. Они возгоняли ртуть; они перегоняли спирт; они умели получать серную кислоту сублимацией серы; они готовили царскую водку и разные виды эфира; они очищали щёлочи; они открыли способ окрашивать в алый цвет лучше, чем это делают современники. До сих пор наши стекольные живописцы не смогли вновь открыть ни определённые цвета, применявшиеся художниками Средневековья, ни способ нанесения неощутимого эмалевого покрытия, которое покрывает расписанные витражи церковей. По всей вероятности, эффекты водорода, рассматриваемого как осветительный газ, не ускользнули от алхимиков; но осмелились бы они открыть, не навлекая наказание костром, чудесное существование этого невидимого газа, который воспламеняется и сгорает при простом соприкосновении с зажжённой спичкой? Кислород, реальность которого Пристли доказал лишь триста лет спустя, был угадан немецким алхимиком, Эком из Зульцбаха. Сколько других газов, ускользнувших из экспериментальных реторт, которые открывались сто раз, прежде чем быть использованными или размещёнными в синтетическом порядке, благоприятном для последующих исследований!

Несмотря на эдикт Генриха IV, короля Англии, который, объявляя всех алхимиков обманщиками, приказывал им либо прекратить свои работы, либо покинуть его государства; несмотря на справедливые подозрения в преступном мошенничестве, тяготевшие над самыми знаменитыми из них, никогда Алхимия не была в таком большом почёте, как в начале XV века. У неё просили не только золото, необходимое для монетных дворов; были проникнуты чудесами питьевого золота, и каждый алхимик продавал за дорогую цену некие смеси, где золото и серебро, обработанные соляной и азотной кислотами, соединённые либо с жирами, либо с вытяжками растений, должны были оказывать на животную экономику некоторые благотворные действия. Шарлатанство могло бы остановиться на этом и наживать значительные суммы: оно зашло в своих видах гораздо дальше; заставляло покупать, то в порошке, то в бутылочке, средство порождать в любом возрасте, вызывать эротические сны, быть неуязвимым, оставаться молодым и продлевать жизнь.

Это эпоха, когда было написано больше всего апокрифических сочинений об Алхимии; когда в большинстве монастырей находилась печь для составления золота и серебра; когда столь многие фанатичные адепты предпринимали долгие и опасные путешествия, чтобы посетить рудники Швеции, Венгрии; чтобы открыть предполагаемые горы магнита и почерпнуть, близ восточных отшельников, начала истинной мудрости.

Совокупность сочинений, приписанных Василию Валентину, ибо ничто не доказывает достоверно, что эта личность когда-либо существовала, характеризует XV век, рассматриваемый в алхимическом отношении: вера в активное содействие мириад невидимых демонов, которые населяют воздух, воду, огонь, землю; в действие светил, столь упорное, что оно разрушает свободную волю и связывает желание; изложение отношений симпатии, которые Бог предусмотрел между всеми существами и всеми вещами; правило поведения, чтобы достичь Великого Делания; рецепты лекарств и косметических средств, которые доказывают менее новые открытия, чем искусное сочетание уже известных агентов; преувеличение в словах, отвечающее преувеличению в вещах; странная фразеология; мистический, напыщенный, причудливый стиль, часто непонятный; много неразумности, искуплённой многим поэтическим даром.

Логический и холодный ум, положительного и строгого вкуса, не смог бы оценить эту фазу человеческой мысли. Поднимите глаза на собор, построенный в XV веке, когда доверчивое и благочестивое воображение переполняло скульптуру; отделите толпу inferнальных и небесных идеальностей, которые населяют его паруса и своды; присоедините к ним гирлянды, фестоны фризов, украшения капителей; смешайте эти бесчисленные мысли, которые камень сделал живыми, и бросьте их во фразу, вы увидите, как выйдет книга, подобная книгам, приписываемым Валентину; книга, осуждённая здравым смыслом, украшенная иногда привлекательной поэзией; полная несвязностей, сталкивающихся идей; тёмная от начала до конца и свидетельствующая о самой глубокой вере, самом безграничном доверии к разумному и рассчитанному содействию невидимых сил природы.

XV век был скорее веком поэзии, нежели экспериментирования, и в этом последнем отношении XIV век превзошёл его. Тем не менее, некоторые серьёзные, разумные люди остались рабами добрых традиций и искали в очаге своих печей лишь те элементы, из которых могли извлечь какую-либо практическую выгоду. Таков итальянец Джанбаттиста делла Порта, который первым говорит о дереве Дианы, о цветах олова; который указывает способ восстановления металлических окислов, окраски серебра и который, оставляя в стороне мечты алхимиков, берёт в руководители один лишь опыт; таковы Исаак и Иоганн Голландусы, изготовители эмалей и искусственных драгоценных камней, описывающие без задней мысли, без таинственности свои остроумные процессы; таковы также Александр Сидоний и его ученик Михаил Сендивогий, которые, даже занимаясь Алхимией, привязываются к полезным практикам, к окраске тканей, изготовлению красок. История этих честных художников была тщательно описана Мёзенем, а их известные произведения появились в *Химическом театре*, изданном в Германии.

Когда в 1488 году Алхимия была запрещена венецианским правительством, золотоделатели не менее упорствовали в своих операциях; розенкрейцеры образовали под названием *Voar chodumia* тайное общество, чьей главной целью была разработка Великого Делания; и пока они распространялись за Рейном, другие фанатики или шарлатаны пользовались, чтобы проникнуть к государям, крайней нуждой, которую те испытывали в деньгах. Это было тогда, когда монарх или алхимик лучше обманывали общественное доверие; кто делал белую монету с наименьшим возможным количеством серебра. Алхимики в Германии приобрели титул придворных офицеров; их вырывали друг у друга; на них рассчитывали для восстановления финансов; видели даже князей, работающих с ними, одних из интереса, других из любопытства.

Мы подходим к XVI веку, к этому обновляющему веку, когда наука, с какой стороны её ни рассматривай, освобождается от изношенных доктрин Средневековья и вступает на новый путь, освещённый сомнением, оплодотворённый наблюдением. Именно с великим движением идей, происходящим на берегах Рейна, от Базеля до Дюссельдорфа, нужно сблизить новую фазу, в которую физико-химические доктрины должны немедленно войти. Самые глубокие учёные, самые выдающиеся ораторы, самые смелые умы, казалось, назначили себе встречу вдоль этой прекрасной реки, чьи волны, по бурной стремительности своего течения, так хорошо отражают их мысли. Они призывают к себе, на пиры философии, своих братьев из Франции, своих братьев из Германии, Англии и Италии; у них есть верные отголоски, послушные типографии, святилища, уважаемые властью; они зовутся Конрад Геснер, Георгий Агрикола, Генрих-Корнелий Агриппа, Эразм, Парацельс и т.д.; они видят, как вокруг них группируется множество учеников, которые вскоре сами становятся учителями; и если между ними возникают некоторые доктринальные соперничества, все они по крайней мере отлично понимают друг друга в подрыве старого здания и построении другого.

Европа была настроена как нельзя лучше, чтобы принимать алхимиков, под каким бы видом они ни являлись: золотоделатели, все королевские сундуки предлагались пустыми; Англия особенно, разорённая долгими войнами с Францией, оказалась сведённой к самым печальным уловкам: лекари, они должны были поставлять новые лекарства против новых болезней, в частности против сифилиса: художники, роскошь требовала от них комфорта, до тех пор пренебрегаемого: философы, диалектики, путешественники, они служили посредниками между потрясёнными народами; они регистрировали их нужды, их капризы, их безумства: они эксплуатировали одни другими слабости человечества. Слепая доверчивость, оказываемая алхимикам, явственно проступает из некоего эдикта, дарованного самым недоверчивым монархом в мире, Генрихом VIII, который предоставляет неким Фосби, Киркеби, Рагни исключительную привилегию изготавливать золото и составлять эликсир долгой жизни.

Парацельс должен рассматриваться как тип алхимика той эпохи. Его полная приключений жизнь, рассказанная им самим, представляет собой ткань событий, которые сочли бы выдуманными для забавы. Ребёнок раннего развития, он изучает Алхимию сначала под родительским кровом, в школе своего отца, астролога и врача; затем под руководством знаменитого Тритемия, аббата Шпонхайма, и нескольких епископов. Он работает затем у богатого Сигизмунда Фуггера из Шварца, чтобы узнать секрет Великого Делания. После завершения этого посвящения, подобный странствующим схоластикам того времени, которые путешествовали, предсказывая будущее по звёздам и линиям руки, производя магнитные, каббалистические и химические операции, распевая баллады и продавая мази, Парацельс покинул родительский кров, живописные долины Швейцарии, богатое и великолепное аббатство Айнзидельн, где протекло его детство, и он побежал по миру. То один, то в сопровождении нескольких студентов, фанатичных от науки или жаждущих приключений, то смешавшись с кочевыми толпами цыган, с которыми он делил судьбу, Парацельс оказывался неутомимым. В Швеции, Богемии, Венгрии он жил среди рудокопов; в Иллирии, Польше, Пруссии он посещал самых знаменитых врачей, не пренебрегая традиционными знаниями старых сивилл, которые предсказывали будущее и лечили секретами. Попав в руки татар, те привели его к своему хану, который, очарованный знаниями своего пленника, дал ему почётную миссию сопровождать своего сына в Константинополь. Парацельс узнал там у учёного Трисмоссена искусство окрашивать ткани и способ получения, по крайней мере он утверждает, философского камня. Полагают, что по возвращении из Азии наш алхимик захотел увидеть Испанию, Португалию, Египет, эту древнюю колыбель магии, и что он вернулся лишь в 1525 году, после по меньшей мере десяти лет странствий.

Парацельсу было тогда 32 года. Его репутация стала блистательной, огромной. Толпились, чтобы увидеть его, услышать его; целовали полы его одежды и шнуры его башмаков.

Эколампадий, уже выступавший в догматической оппозиции, доставил ему кафедру медицины в Базеле, и тысячи учеников стекались туда, соблазнённые, фанатизированные учителем. Это был прекрасный момент, блестящий час Парацельса. Великие сеньоры, принцы усердно ему покровительствовали. Он исцелил восемнадцать из них, слывших неизлечимыми. Это было, кому взять несколько капель эликсира, с помощью которого можно было, как он уверял, продлевать свою жизнь по желанию. Вдруг, однако, звезда Парацельса померкла. Нужно ли этому удивляться? Подобное происходит каждый раз, когда обещают больше, чем в состоянии исполнить. Вынужденный покинуть Базель и начать снова странническое существование, Парацельс уводит своих самых верных учеников, Опорина, Франциска, Вельтера, Корнелия; он уносит свои колбы и капсулы; ходит из города в город, уча, практикуя и разоряясь силой экспериментирования и разврата.

Те, кто изучает Парацельса поверхностно, видят лишь несвязности его доктрины, не учитывая ни проблесков света, которые он распространил в хаосе галенизма, ни революции, которую он произвёл. В Парацельсе есть два человека: с одной стороны, пламенный реформатор, который перевернул принятые в медицине идеи, расширил область *materia medica* и который своими удачными манипуляциями доставил искусствам неожиданные ресурсы; с другой стороны, эксцентричный ум, теософ, шарлатан, удаляющийся от обычной экзегезы и желающий выдать себя за одно из тех привилегированных существ, которым толпа верила, что знания приходят непосредственно от Бога, путём простой эманации. Этот второй аспект, под которым показывался Парацельс, не мог не оказать мощной помощи успеху его доктрин, особенно если бы он позаботился больше изолироваться и не показывать человека тем, кто никогда не должен был бы видеть ничего, кроме пророка.

Объяснение парацельсовского словаря требовало долгого изучения. Мы извлечём из него здесь лишь то, что относится к предмету этой главы. Парацельс называл *астром* внутреннюю, основную силу вещи и определял Алхимию как искусство привлекать вовне астры металлов. По его мнению, астр становится источником всех знаний, всех жизненных функций как в организованной материи, так и в неорганизованной. При еде поглощают астр, необходимый для жизни, который видоизменяется таким образом, чтобы благоприятствовать питанию органов, каждый орган требуя особого элемента или семени. В желудке существует архей, или демон, который отделяет яд от пищи и даёт питательному веществу окраску, в силу которой происходит ассимиляция. Этот архей, дух жизни, природа, царствует как господин и командует другими подчинёнными археями, которые председательствуют при питании каждого органа. Парацельс отвергал доктрину четырёх элементов, выдуманную Эмпедоклом; он предполагал соляной сидерический элемент, невидимый никому, кроме привилегированного теософа, и который производил плотность тел, а также их способность возрождаться; серный сидерический элемент, причину роста и жизненного горения; и ртутный сидерический элемент, агент возгонки и текучести. Это была, другими словами, идея Анаксагора, который видел в мире лишь три необходимых элемента – воду, землю и огонь. Но Парацельс шёл дальше; он одушевлял, подобно каббалистам, эту элементарную массу; предполагал активное, всегда действующее вмешательство духовных корпускул, промежуточных между материальными и нематериальными субстанциями, каковые корпускулы едят, пьют, говорят и порождают существ, чья прозрачность и подвижность приближают их к небесным духам. Эти корпускулы суть одновременно тела и духи, без душ. Они умирают так же, как и мы; но никакой нематериальный принцип их не переживает. Их называют сильванами, если они обитают в воздухе; нимфами, или ундинами, если они в воде; гномами, или пигмеями, на земле; и саламандрами, в огне. Сильваны, дышащие воздухом, которым дышим мы, из всех корпускул наиболее близки нашей природе. Это они обычно получают от Божества разрешение быть видимыми, разговаривать с человеком, иметь даже с ним плотское общение и порождать детей. Гномы или нимфы принимают тело гораздо реже, чем сильваны, а саламандры никогда не покидают среду, где

живут, если только им не доверена охрана скрытых сокровищ. Дар познания будущего, способность открывать его человеку принадлежат духовным корпускулам, которые предпочитают принимать форму блуждающих огоньков, или принимают облик умерших лиц, чья память нам дорога. Феи суть не что иное, как духовные корпускулы, временно воплощённые.

Вот пантеизм Парацельса. Верил ли он в него? Это сомнительно. Кажется более разумным допустить с его стороны намерение предложить доверчивой толпе, под сетью соблазнительных идей, согласующихся с предрассудками, несколько полезных открытий и быстро достичь богатства, поражая воображения, которые рациональная доктрина, конечно, не очаровала бы.

В своих химических операциях, и его самые ожесточённые противники соглашались с этим, Парацельс всегда был одушевлён одной лишь мыслью, мыслью великой и плодотворной: упрощением процессов, поиском элементарных начал и подлинно активных агентов природы. Его арканы суть не что иное. Истинная цель Алхимии, говорит он, – приготовить арканы, а не фабриковать золото. Итак, вы видите, как он неистово обличает трактирщиков и поваров, которые топят в супах лучшие арканы; аптекарей, которые умеют составлять лишь бесполезные сиропы или отвратительные декокты, когда у них под рукой, на дне их аламбиков или кукубитов, находятся эссенции, экстракты и настойки. Он не менее восстаёт против врачей, которые в своих варварских предписаниях собирают вещества, чьи элементы взаимно разрушают друг друга: «Читайте их травники, – восклицает Парацельс, – и вы увидите, как они приписывают каждому растению тысячу и одно свойство; но с того момента, как они составляют формулу, это сорок или пятьдесят простых, сваленных в кучу против одной-единственной болезни. Нет основания, чтобы вскоре их ученики не ввели сотен и тысяч в один и тот же рецепт. Это до такой степени вошло в обычай, что вместо того, чтобы соединять, как прежде, шесть или семь снадобий, одно для сердца, другое для печени, и писать таким образом хорошие формулы, заботятся лишь о кратких трём. Мания арифметических расчётов владеет умами до такой высокой степени, что не знают, чему из умножения или сложения придавать больше важности. Мы простили бы им ещё этот недостаток, если бы, в то же время как они складывают, они воспользовались вычитанием и делением, чтобы убрать бесполезные вещи. Примените к сокам тела сложение и умножение, ваш идеальный расчёт составит значительное сокровище, чтобы построить церковь, поместить в ней монахов, облечённых петь *Requiem* в искусстве формул, и *Te Deum laudamus* в накоплении соков. Я сам хотел бы войти как монах в эту конгрегацию, чтобы искупить там свои грехи относительно соков».

Парацельс критикует с не меньшим пылом привычку корректирующих средств, добавляемых к определённым веществам, особенно когда эти корректирующие средства не имеют с ними никакого отношения по составу. Огонь и Химия, говорит он, суть единственные корректирующие средства. Он борется также с лечебным методом галенистов против предполагаемых элементарных качеств и против преобладающих соков; он желает, чтобы искали квинтэссенцию растений, эфир Аристотеля и активные начала организованных тел; чтобы тщательно выделяли их и применяли против того или иного функционального расстройства. Что касается заячьих костей, коралла, перламутра и других аналогичных тел, с помощью которых он утверждает, что составляет арканы, будьте вполне убеждены, что он не верит в их действенность; что он лишь желает сбить с толку учеников, которые за ним наблюдают, обмануть их относительно своих приготовлений, и что к незначительным составам он тайно добавлял несколько окислов, чью действенность признал. Ртуть, сера, олово, золото, серная кислота играют большую роль в фармакопее Парацельса. Он часто применял, особенно против сифилиса и проказы, однохлористую и двуххлористую ртуть, азотнокислую ртуть и красную окись ртути, и он представлял как существенно производящие причины болезней три химических сущности (*entes*) – соль, серу, ртуть; и принцип остроты, тартар (*tartarus*), который он преследовал под всеми формами, во всех органах. Что касается астральных, духовных, природных сущностей, наименований,

которые обозначали внешние влияния, Парацельс, чтобы овладеть ими, старался определить отношения человека с телами природы и с его собственными органами; он толковал сны с точки зрения ощущений и магнетизма, и когда, в последнем анализе, решение казалось ему невозможным: «Если Бог не поможет мне, – говорил он, – дьявол окажет мне содействие».

В 1541 году один человек умирал в госпитале Святого Стефана в Страсбурге; и монахи-нищенствующие, маленькие монахи, чьим врагом он был, врачи, хирурги и цирюльники, которых он безжалостно атаковал, все аплодировали, в то время как народ стонал под тяжестью невознагражденной потери: этот человек, которого презирали за то, что его плохо поняли, который имел в сердце безграничную щедрость, в мозгу – вспышки гения, иногда смешанные с бредовым преувеличением, звался Парацельсом. Ненависть, которую он навлек на себя, остановилась бессильная или удовлетворенная перед его могилой; и с того дня, как он закрыл глаза, началось торжество идей обновления, которые, благодаря ему, ввели в область металлургической Химии и медицинской Химии.

Типографии Базеля, Страсбурга и Франкфурта-на-Майне, особенно базельские, выпустили множество сочинений, где искусство приготовления лекарств, косметических средств, красок оказывалось измененным согласно парацельсистской системе. Из спекулятивной, какой она была, Алхимия стала по сути утилитарной, и Георгий Агрикола, действуя с большей наукой и зрелостью, чем Парацельс, провёл без потрясений в металлургии счастливую революцию, которую его неистовый современник произвёл в фармакопее.

Агрикола проживал в Базеле. Его серьёзный, скромный характер подходил жителям этого торгового города, и его открытия не могли не понравиться им, с того момента как они видели непосредственную возможность полезного применения. Печи Агриколы были непрерывно зажжены; и в течение тридцати лет, примерно с 1530 до 1560 года, типографские мастерские Вестхмеров, Фробенов видели разворачивающиеся бессмертные страницы отца металлургии. Агрикола не ограничился указанием наших подземных богатств и способов получения их в чистом виде от посторонних веществ, с которыми они соприкасаются; он описал машины, заставил изобразить их гравюрой и позаботился разъяснить текст с помощью латинского и немецкого словаря. Мы видели ранее, как епископы завершали посвящение Парацельса в тайны Алхимии; прелаты же были сотрудниками Агриколы и председательствовали при исправлении его корректур.

Отныне Хемиатрия, или искусство превращений в его отношениях с медициной, и Металлургия, обе поддержанные учениками Парацельса и учениками Агриколы, будут идти равным шагом. Алхимия сосредоточится в абстракциях своих фанатичных приверженцев; она станет исключительно психологической, какой была экспериментальной, и вскоре исчезнет с оплодотворенной империи позитивных знаний.

Ничто сегодня не могло бы более заинтересовать, чем присутствовать при этой великой борьбе алхимиков-психологов с хемиатрами, или новыми химиками; видеть, как Средневековье теряет почву, но не без боя, и уступает перед позитивными идеями, опирающимися на экспериментирование. Сколько бесстрашных бойцов, сильных атлетов истощились на арене! Сколько книг порождено с той и с другой стороны! Сколько голосов потеряно в пространстве!..

В Базеле это Гратероль и Брацескус, которые берут защиту чистых алхимиков и их секретов; это Боденштейн, который знакомит с медицинской системой Парацельса; тогда как Томас Эраст и Генрих Сماعيل, профессор Гейдельберга, пытаются раздавить его весом своей мощной логики; это Александр фон Сухтен, который в книге под названием *Заря и сокровища философов* подводит итог спекулятивным идеям, выдвинутым Авиценной, Гебером, Раймундом Луллием и другими принцами Алхимии.

Труды этих последних, изолированные или собранные, аннотированные, прокомментированные, публикуются наперебой самыми знаменитыми типографами Базеля, Страсбурга и Франкфурта. Благодаря разумным типографиям Вехелинов, Эгенольфов, Франкфурт отнял

даже у своих двух соперниц нечто вроде монополии, которую они осуществляли на производстве по Металлургии и Алхимии. Книги Кристофа Энцелиуса, Конрада Геснера, Лазаря Экерса, Томаса Муфета, Никола Гильберта, вышедшие во Франкфурте с замечательной роскошью и типографской корректностью, громко свидетельствуют о благосклонности, которую публика оказывала подобным сочинениям, о коммерческой ценности, которую они приобрели, и о независимости, с которой реформаторские идеи, будь то в науках, в догматах, в искусствах, могли группироваться и распространяться.

Из всех городов Европы Лион был тем, который после великих рейнских городов проявил наибольшее рвение в пользу Алхимии, Хемии и Металлургии; Нюрнберг, Турин, Лейпциг, Брюссель, Париж идут лишь после, и нужно ждать почти целый век, чтобы увидеть, как они уделяют мыслям, рождённым на Рейне, ту степень интереса, которую они заслуживали. За это время идеи продвинулись; старые университеты Праги и Оксфорда приняли Хемии; школы Италии защищали исключительный галенизм, и Кардано, казалось, поместился между Средневековьем и Возрождением, чтобы обозначить, странной, но бессмертной книгой, переход от старой системы к новой.

Уже скептик Корнелий Агриппа, который в своей пламенной юности был посвящён в тайны Алхимии, провёл твёрдой рукой черту, отделяющую науку от спекуляции, искусство от ремесла:

Я мог бы сказать несколько вещей об этом искусстве, коего я не слишком враг, не будь я дал клятву, согласно обычаю, когда принимают в таинства оно, не разглашать их... Здесь я показал бы алхимика, преданного самым интересным опытам, изготавливающего лазури, кино-вари, чернила или вермильоны, ормушколь и другие смеси красок, способ изготовления латуни, все смешения металлов, способ паять, соединять и разделять и производить их пробирные испытания; там я застиг бы того же человека, упражняющегося в подлинном плутовстве, подделывающего благословенный философский камень, прикосновением коего все вещи мгновенно превращаются в золото или серебро, согласно желанию Мидаса, и старающегося извлечь из неба некую квинтэссенцию, которая произведёт чудеса. Этого человека я бы изгнал из королевств и провинций; конфисковал бы его имущество; наказал бы телесно, ибо он оскорбляет Бога, христианскую религию и общество. – Слишком долго было бы, – говорит в другом месте Агриппа, – перечислять все безумства, тщетные секреты и загадки этого ремесла, о зелёном льве, о бегущем олене, о летящем орле, о раздутой жабе, о вороньей голове, о сём чёрном, что чернее чёрного, о печати Меркурия, о грязи мудрости и подобных неисчислимым нелепостях. Что до самой науки, которая мне знакома и которую нужно очень остерегаться смешивать с ремеслом, я полагаю её достойной чести, коей Фукидид требует для добропорядочной женщины, говоря, что о ней не должно говорить ни хорошо, ни плохо.

Эти последние слова примечательны. Они доказывают со стороны Агриппы крайнюю сдержанность, не только из-за клятвы, которую он дал некогда не открывать ничего из тайн Великого Делания, но потому что он полагает, что должен воздерживаться от всякого поспешного решения о науке, находящейся в прогрессе, чьи будущие судьбы ещё неопределёны. *Я буду говорить о ней иносказательно, немного темно, дабы быть понятым лишь детьми алхимической науки, кои имели вход и были приняты в таинства оной.* Адепты очень остерегались бы выпустить малейшее нескромное слово. Меч Дамокла, подвешенный над их головой, немедленно поразил бы виновного, и я не был бы далёк от того, чтобы приписать критическим, нескромным словам Агриппы относительно Алхимии добрую долю преследований, жертвой которых он стал. Помещённые на вершине социальной лестницы, мастера Великого Делания дискредитировали бы себя, не защищая его. Вокруг них экспериментальное искусство принимало иногда благородную и соблазнительную осанку; и когда им случалось злоупотреблять им, это было ещё одной причиной, чтобы защищать его.

Но ниже этих мастеров, столь надменных, столь суровых и гордых, какая мириада несчастных химиков, одни сбитые с пути воображением, другие открытиями, не имеющими значения; эти – нищетой, те – неблагодарностью людей или роком! К ним применяли пословицу: *Всякий алхимик есть врач или мыловар; он обогащает словами уши каждого и в то же время опустошает кошелёк*. Действительно, их уверения, их обещания всегда сопровождалась просьбой о нескольких экю.

Агриппа оставил нам очень оживлённую, очень выразительную картину печального состояния, в котором оказались низшие алхимики, странствующие коробейники, которые ходили с ярмарки на ярмарку, собирать немного денег, продавая белила, киноварь, сурьму, мыла и другие снадобья, служащие *румянить женщин, красить и пластырить старые снадобья, кои Писание называет мазями блуда*. Подлинныя паразиты науки, они жили за её счёт; они соперничали в ловкости с фиглярами, цыганами, жожаками учёных животных и не колебались украсть деньги, которые не могли заработать. Это были, говорит он, *виселичное отродье*. Полиция преследовала их с жаром. Были особенно неумолимы к тем, кто фабриковал фальшивую монету, промышленность, монополию на которую правительства оставляли за собой.

До эпохи, когда Николя Фламель олицетворил Алхимию на берегах Сены, во Франции знали почти исключительно алхимиков-кочевников, гораздо более способных дискредитировать дух экспериментирования, нежели распространять его в высших классах общества. Писатель, нотариус, философ, натуралист, Фламель имел репутацию честности, которая служила, быть может, столь же, как и его огромное состояние, делу философского камня. Не исследовали, должны ли счастливые спекуляции, значительные вклады, сделанные некоторыми преследуемыми евреями, умершими без наследников, удесятерить скромное достояние Фламеля; толпа, любитель чудесного, приписала всё Алхимии; и долгое время после его смерти, несмотря на добрую репутацию, которую он оставил, ни один буржуа или простолюдин Парижа не отважился бы пройти вечером по улице Мариво, прежнему местожительству Фламеля, не осенив себя крестным знаменем на лбу, дабы отогнать злых духов, которые должны были устроить там свою главную квартиру. Церковь, признательная одному из своих величайших благотворителей, увековечила живописью и резцом память Фламеля и Пернеллы, его жены. Они были изображены оба в приходской церкви Сен-Жак-ла-Бушери, в церкви Сент-Женевьев-дез-Аран; но их гробница, которую благочестиво посещал каждое воскресенье народ, чья память менее мимолётна, чем предполагают, находилась на кладбище Невинных, под Свитками, где художник изобразил на камне портреты главных алхимиков и живописную картину процессов *ars magna*.

После того как он помог успехам экспериментальной Химии, блистательное состояние Фламеля привело во Франции к погибели множества частных лиц, подобно тому как выигрыш джекпота в лотерею низвергал множество семей в пропасть нищеты. Поиски сей священной камня, *кошй не был ни острым, ни тёмным, но полированным, и мягким на ощупь, нисколько не мягким, ни твёрдым, ни острым на вкус, сладковатым на запах, приятным на вид, милым и радостным для слуха, веселящим сердце и мысль*, бросили тысячи энтузиастов в пагубный путь бесплодных опытов. Это была мания, лихорадка века. *Вредоносные угли, сера, навоз, рыбы, руды и всякий тяжкий труд казались им слаще мёда, пока, истратив имущество, наследство, утварь, что уходило в пепел и дым, сии несчастные не оказывались отягощёнными годами, одетыми в рубище, вечно голодными, пахнувшими серой, окрашенными и испачканными сажеей и углём, и по частому обращению с живым серебром (ртутью) став паралитиками. Впрочем, они испытывали на себе самих метаморфозу и изменение, кои предпринимали сделать в металлах; ибо из химиков они становились хилыми, из врачей нищими, из мыловаров кабатчиками, потехой народа, явными безумцами и забавой каждого*. Эта резкая картина ничуть не преувеличена. Она показывает, до какой степени была доведена в течение XVI века опасная мания экспериментирования; она посвящает нас в трудные родовые муки искусства, когда,

плавающая без компаса по океану сомнения и неопределённости, оно не имело иных вех, кроме руин, которые оставляло накопленными позади себя.

Между эпохой Николая Фламелья, который не имел школы, и открытием первого преподавания парацельсистов в Парижском Университете, Алхимия, безмолвная во Франции, путешествовала, как мы видели ранее, по миру.

Прежде чем Байиф де ла Ривьер, Жозеф Дюшен, врачи Генриха IV, и Жорж Пено, все трое ученики базельской школы, поразили именем Парацельса французские отголоски, до тех пор невнимательные, базельский металлург Турнейссен имел время обойти мир, организовать обширные мастерские, эксплуатировать рудники, сколотить колоссальное состояние, блистательную репутацию и потерять репутацию и состояние; Адам Боденштейн, не менее ревностный, чем Турнейссен, к системе Парацельса, долгими путешествиями распространил эту систему в Европе; эльзасец Михаэль Токситес фон Грабунден, поэт и врач, приложил к разъяснению идей учителя и подготовил союз системы Парацельса с системой Галена; Герард Дорн, врач-химик, преподававший во Франкфурте одновременно с Гаспаром Гофманом, этим антагонистом Турнейссена, возбудил силой своей невразумительности и оригинальности восхищение многочисленного стечения слушателей; Педро Северин открыл парацельсистским доктринам доступ ко двору Дании, как Бартоломе Каррихтер устроил им благосклонность императорского двора, а Ян Мишель из Антверпена – восхищение высших классов Англии. К несчастью, большинство этих энтузиастических учеников преувеличивали, если даже не толковали ложно, слово учителя; так что подлинно возрождающие мысли терялись под галиматъей абсурдных идей.

В глубине Германии, в Кобурге, Андреас Либавий был первым выдающимся химиком, который, отделяя долю умственной Алхимии, преподававшейся учениками Парацельса, и долю рациональной Алхимии, боролся с притязаниями соответственно парацельсистов и галенистов. Он сделал больше: открыл в Химии несколько важных истин и подготовил блистательный путь, по которому должен был немедленно пойти Сала. С другой стороны, несколько галенистов изучали без предвзятой идеи систему Парацельса. Гюнтер фон Андернах, несмотря на свои семьдесят лет, не побоялся снова пойти в школу, вернуться к целому прошлому и рекомендовать некоторые спагирические средства. Гюнтер, два Цвингера из Базеля (Теодор и Якоб); Михаэль Дёринг из Бреслау, профессор в Гиссене; алхимик из Лотарингии Гильберт, бывший энтузиастическим парацельсистом, были учителями новой и благотворной школы, которую можно было бы назвать школой примирителей.

Во Франции добрые намерения этих эклектичных химиков были заглушены слепыми притязаниями исключительных парацельсистов и упорным сопротивлением Парижского факультета. Нелепый приговор некогда осудил сурьму, запретил спагирические лекарства как яд: поднимая этот приговор из забвения, в которое он впал, неистовый Риолан начал войну снова; и это среди памфлетов, гипербола страсти, скандала школ; под выражением горькой непримиримой ненависти Химия и её продукты, применённые к нуждам человеческого тела, проложили себе дорогу через XVII век. Рудольф Гоклениус, профессор Химии в Марбурге; мекленбуржец Ангелус Сала, любимый ученик Либавия; вюртембержец Даниэль Зеннерт; знаменитый бельгиец Ван Гельмонт, все рождённые в то же десятилетие, между 1568 и 1577 годами, были самыми знаменитыми пропагандистами Хемии, против которой восставало экстравагантное спиритуалистское безумие Розенкрейцеров.

Две другие отрасли науки, Металлургия и техническая Химия, шли с гораздо меньшими препятствиями. Это было, кто будет их защищать, правительства, городские управления и князя. Венеция, столь глубоко враждебная химикам-психологам, покровительствовала химикам-практикам, химикам-рабочим. То же было во всех торговых государствах. Видели, как металлурги и техники, опираясь на великий двигатель прогресса – интерес, строили доменные печи, литейные, получали привилегии на важные предприятия и изменяли за несколько лет

множество общественных привычек. Самые знаменитые учёные занимались металлургической Химией. Тихо Браге, столь известный как астроном, не менее заслуживает известности как химик. Часто он запирался в лаборатории с императором Рудольфом II, и сей монарх тратил на экспериментирование очень значительные суммы. Знаменитый канцлер Бэкон, справедливо названный отцом экспериментальной физики, занимался также Химией, чьи некоторые мечтания, недостойные столь выдающегося ума, он даже принял.

Не менее счастливая, чем металлургическая Химия, техническая Химия встретила с самого своего начала человека гения, Бернара Палисси, одновременно геометра, минералога, агронома, живописца, изготовителя эмалей, рисовальщика и формовщика, который возвёл её за несколько лет на высоту уже усовершенствованного искусства. Мы завидуем учёной Германии славе произвести Агриколу, породить, исправить Химию в её самых полезных операциях; но нигде Возрождение не могло бы почтить себя художником столь совершенным, работником столь искусным, как Палисси.

Не имел я, – говорит он, – иной книги, кроме неба и земли, коия известна всем, и дано всем познавать и читать сию прекрасную книгу. Он образовал себя сам. Сначала живописец, он оставил родительский кров, чтобы путешествовать; он объездил Францию, Лотарингию, Эльзас до самого Рейна, вопрошал сведущих людей, узнал от алхимиков всё, что они знали о физике и Химии, и распознал в глубине вулканических пещер Германии обман работников Великого Делания. Различая истинное от ложного, это посвящение, далёкое от того, чтобы ослепить Палисси, просветило его ум и сделало его лишь более сдержанным в своих поисках. *Есть тайны, столь крепко сокрытые и неизвестные во всех природах, – писал он, – что чем более человек будет учён в философии, тем более он будет страшиться опасностей, кои обычно возникают во всех предприятиях плавильных, металлических и вулканических.* После десяти лет тяжких странствий Палисси, вернувшись домой с сознанием своего гения, делал опыты прикладной Химии и разорился. Но бесценные продукты вышли из его печей; он получил патент изобретателя *деревенских фиголин короля*, и будущность счастья и славы открылась перед ним. Палисси преподавал в Париже техническую Химию с величайшим блеском. С его кафедры исходило сияние оригинальных и плодотворных идей, к которым, под некоторыми отношениями, наши современные учёные ничего не добавили. Он восставал с силой против притязания заключать духи, или газы, в глину, делать золото питьевым и заставлять поглощать металл без предварительного растворения. То, что он говорил об употреблении солей в земледелии, в красильном деле, для приготовления кож, для приготовления оружия или предметов роскоши, для бальзамирования, подтвердилось опытом трёх столетий. Относительно изготовления минеральных и растительных красок он создал полную теорию, отмеченную печатью самого здравого разума; и когда он признаёт последовательные слои земного шара, явившиеся вслед за несколькими потопами; когда он выдвигает, что камни не имеют растительной души, но могут увеличиваться способом застывания (*congélativ*), то есть путём системы агрегации, не вырывает ли он у природы откровение двух общих законов, на которых покоятся геология и минералогия?

ХИРУРГИЯ.

Полная история хирургии в Средние века еще не написана, потому что, пытаясь проследить нить событий, изучали лишь книги, не задумываясь об учреждениях; потому что, сосредоточиваясь на ученом, писателе, художнике, пренебрегали человеком, человеком, подверженным постоянным колебаниям меняющегося и развивающегося общества.

В Средние века, когда все творения человека облекались в формы поэзии и искусства; когда ассоциация, едва лишь возникала великая идея, оплодотворяла ее, перед разумом были открыты иные пути, нежели нынешние. Это были традиционные пути – от отца к сыновьям, от мастера к ученикам, патриархальные пути, вдоль которых старые и новые труженики шли вместе, не различаясь. Оперативные приемы, секреты ремесла сохранялись путем передачи – устной или наглядной. Лишь очень немногие специалисты составляли трактаты. Казалось бы, факт становился достоянием науки, чудесное деяние – достоянием человечества; деяние, факт не погибали, но имя изобретателя проходило незамеченным сквозь океан веков, если какой-нибудь друг не начертывал его на камне гробницы. Замечательная эпоха, когда отдельный человек не значил ничего; когда лишь ассоциация обладала силой рождаться, расти и длиться; когда жизнь нации измерялась не величиной отдельных личностей, а безмолвным величием ее памятников!..

Когда в Европе муниципальная организация укрепилась на развалинах обширной империи Карла Великого; когда дух независимости и провинциальной обособленности призвал мирян к участию в гражданских функциях, к привилегии управлять собой самим, искусство сбросило свои оковы и, перешагнув стены монастырей, победно укоренилось в недавно освобожденных народах. С этого момента началась долгая борьба интересов и самолюбия между мирянами и монахами. Последние поняли, что доверие к чудесным исцелениям, совершаемым реликвиями, пойдет на убыль; что часто придется помогать чуду, чтобы оно свершилось, и что лучшим средством обеспечить свое влияние будет все же утвердить его через практику медицины и Хирургии. И вот мы видим, как монахам рекомендуют чтение Цельса; и вот, несмотря на папские буллы Бенедикта IX и Урбана II, запрещавшие священникам путешествовать, множество церковнослужителей покидает уединение монастыря, чтобы помогать физическим недугам страдающего человечества: таковы Туддег, врач Болеслава, короля Богемии; Гуго, аббат Сен-Дени и врач при французском дворе; Дидон, аббат Санса; Сигоальд, аббат Эперне; Иоанн из Равенны, аббат Дижона; Милон, архиепископ Беневента; Доминик, аббат Пескары; Кампо, монах монастыря Фарфа в Италии и т.д.

Все они одновременно практиковали, в определенных пределах, медицину и Хирургию; присутствовали при крупных операциях, которые скорее рекомендовали, чем проводили сами, оставляя за собой простые разрезы, вправления вывихов и переломов, перевязки больших ран от ударов копьем или мечом. Вслед за ними действовали госпитальные братья и госпитальные сестры, знакомые с малой Хирургией.

Также были повивальные бабки, посвященные в некоторые оперативные приемы, которые чувство приличия запрещало мужчинам. Повитух-мужчин нигде не видно. Более того, все подтверждает мысль, что операция кесарева сечения, предписанная Церковью, как она была предписана королевским эдиктом, приписываемым Нуме Помпилию, была исключительно доверена повивальным бабкам под председательством церковного сановника, ответственного за крещение новорожденного.

Услуги, оказываемые искусству врачевания госпитальными сестрами, были так хорошо признаны, что в двенадцатом веке знаменитый Абельяр рекомендовал монахиням Параклета изучать Хирургию. Сиделки по евангельскому духу, эти благочестивые женщины отнюдь не ограничивали свою благотворительную деятельность тесной монастырской оградой. Они несли

помощь на дом. В случаях эпидемий, столь частых тогда, они возвращались в лоно великой человеческой семьи, служительницами которой себя почитали, и делили с госпитальерами различных орденов заботы, предписываемые сведущими людьми. Во многих обстоятельствах, когда больные или раненые были в изобилии, эти сестры и братья даже брали на себя исключительное ведение лечения: досадное, но неизбежное обстоятельство, которое объясняет рвение, с которым знаменитая Хильдегарда, аббатиса монастыря Рупертсберг близ Бингена на Рейне, готовила своих монахинь к практике медицины и Хирургии.

Очевидно, что с девятого по двенадцатый век не было никаких правовых ограничений ни в изучении, ни в практике хирургического искусства. Хирургом становился кто хотел. Успех оправдывал средство; народное невежество разрешало любой прием. Множество людей, считавшихся хирургами, были бы неспособны наложить повязку или орудовать режущим инструментом. Они прибегали к пластырям, мазям, растираниям; самые умелые умели пускать кровь, ставить банки, перевязывать рану, вправлять вывихнутую конечность. Большая Хирургия оставалась уделом специалистов, которые, выйдя первоначально из церковного сословия, были в конце концов вынуждены вернуться в него и оставить свою деятельность мирянам, когда Церковь объявила врачебно-хирургические функции несовместимыми со священническими. Этот запрет, впервые провозглашенный в 1131 году на синоде в Реймсе, подтвержденный в 1139, 1162, 1163, 1213 годах на соборах в Туре и Париже, почти нигде не исполнялся точно. Напрасно Церковь повторяла свои запреты, обрушивала свои декреты, приманка золота делала доступными для больных многие религиозные дома, куда с незапамятных времен человечество приходило искать помощи искусства; и еще два века монахи-терапевты, возбуждаемые надеждой на огромные доходы, продолжали странствовать по Европе.

Когда совершилось вооруженное паломничество крестовых походов, движение возвышенное или безумное, между Западом и Востоком, именно монахи, госпитальные братья организовали на пути крестоносцев святые обители несчастья и страдания. Монпелье, Салерно, Мальта, Александрия и т.д. предстали тогда как оазисы, предназначенные для больных и раненых; древняя слава монастыря Монте-Кассино возросла; множество учеников стекалось туда, и святой Бенедикт из Мурсии, умерший пять веков назад, продолжал оперировать больных во сне. Что могли поделать декреты соборов, буллы пап против святого, который так упорно стремился безболезненно оперировать вельмож; который, например, делал камнесечение императору Генриху, с удивлением обнаруживавшему при пробуждении, что держит в руке камень, который, как он думал, все еще находится в его мочевом пузыре?... Восемнадцатый век, допуская чудо лишь в полдень, перед собравшейся Академией наук, объявил бы рассказы легендария обманом; девятнадцатый век, свидетель чудес, достигнутых этеризацией, магнетизмом, был бы, возможно, менее категоричен.

Спрашивают, существовала ли в Средние века собственно военная Хирургия, и в каких условиях она функционировала. История не упоминает о ней до четырнадцатого века; но самые древние хронисты то и дело называют то монаха, то клирика, а то и какого-нибудь видного церковнослужителя, который сопровождает того или иного военачальника как врач или хирург. Однако, не следует ли предположить, что в любой экспедиции, где должен был происходить обмен ударами меча, необходимо присутствовало по крайней мере одно лицо, сведущее в перевязках, которое организовывало и руководило санитарной службой по мере надобности? Госпитальные братья, сестры, завербованные под знамя христианского милосердия, исполняли предписания мастера, и всех тех, кому требовалось длительное лечение, перевозили в ближайшие монастыри. Именно так граф Роберт, сын Вильгельма Завоевателя, и столько других героев, вышедших неисцеленными из Палестины, высадились на Мальте, в Монте-Кассино, в Салерно, чтобы найти действенное средство для своих ран.

Внутренняя организация маленьких демократических государств, имперских городов и коммун, право набирать войска, иметь армию и вести войну неизбежно привели к значитель-

ным переменам в социальном положении Хирургии. Прежде всего против временного деспотизма Церкви боролся дух городской независимости; во всем хотели освободиться от вассальной зависимости, навязанной священниками, и, чтобы больше не прибегать к помощи монахов или братьев-целителей, власть, а может быть, и народный инстинкт, возвела цирюльников в звание хирургов второго разряда или служителей. Поступили еще лучше: в каждом значительном городе некоторых из них стали содержать на жалованье при условии, что они будут ухаживать за бедными и последуют на войну за воинами, которых туда пошлют. Некоторые многолюдные города, достаточно богатые, чтобы брать на себя большие жертвы, не удовлетворялись хирургами-цирюльниками. Они прикрепляли к себе одного или нескольких умелых Хирургов, клириков или ученых, почти всех подготовленных в монастырских школах, но главным образом в школе опыта. Таковы были в Болонье, Парме, Вероне Гуго из Лукки, который получил за полное пожертвование всей своей жизни 600 ливров единовременно, и Гийом де Саличет, о котором мы поговорим позже. Вот происхождение Stadt Physicus в Германии, оплачиваемых врачей или хирургов Франции и Италии. После двух веков соперничества с монахами-терапевтами они в конце концов стали практиковать бесконтрольно и, в свою очередь, образовали братства, которым магистрат дал уставы и привилегии.

Поскольку эра эмансипации европейской демократии совпала с крестовыми походами, с лихорадочным возбуждением, которое тогда толкало человечество к дальним экспедициям, стали знакомиться с Востоком; европейские ученые стали презирать мусульманскую науку гораздо меньше, чем прежде; и хотя Хирургия у арабов, вследствие религиозных предрассудков, сильно отставала от других искусств, из их книг извлекли несколько полезных понятий. Авиценна, суммировавший медико-хирургическую энциклопедию одиннадцатого века, оказал важные услуги. Несмотря на слабость его Хирургии, трактаты, которые он составил о болезнях век и о грыжах, до сих пор можно было бы с пользой консультироваться.

Мы не будем дольше задерживаться по ту сторону Пиренеев, когда искусство призывает нас в Сицилию; когда мастер Гариопонт, прибывший с островов Архипелага в Салерно, утверждает там Хирургию и составляет несколько трудов, ставших основами салернского преподавания. Понт не является, как свидетельствует Галлер, бесполезным компилятором, *inutilis compilator*. Для своего века он обладал замечательной эрудицией; он знал Галена, Орибасия, Плистоника, Акресия, Элеотата и других греческих врачей, в то время как презирал арабские учения. В трактате по практической медицине, называемом *Passionarium*, в медицинском сочинении, известном под названием *Dynamidia*, трудах, оставшихся неопубликованными, Понт часто говорит исходя из собственного опыта и не скрывает, что практиковал Хирургию наряду с медициной. Ему мы обязаны созданием множества латинских слов, впоследствии вошедших во французский язык: *clysterisare*, *cauterisare*, *gargarisare*, *cicatrizare* и т.д. Многие из его советов господствовали в преподавании школ вплоть до конца восемнадцатого века.

Рядом с Понтом, Альфрицием, монахом по имени Рудольф, пользовавшимися тогда в Салерно бесспорным хирургическим превосходством, шла рука об руку повивальная бабка Тротула. Именно в этом кругу ученых практиков сосредотачивалась, готовилась научная деятельность Сицилии; именно там, вокруг санитарного кодекса *Regimen sanitatis*, составленного бездарным поэтом по имени Мацер, должна была возникнуть и вскоре воссиять школа. Необходимый человек не замедлил явиться, ибо никогда человек не был недостаточен для обстоятельств; он прибыл с африканских берегов: его звали Константин.

После глубоких занятий, начатых в Африке, продолженных на берегах Евфрата, затем в Индии, затем в Египте; после недолгого пребывания на родной земле, которую вынудили его покинуть неблагодарные соотечественники, Константин пришел под гостеприимное небо Сицилии искать спокойствия и отдыха. Его узнал брат вавилонского царя, который поспешил указать на него знаменитому Роберту Гвискару. Тот взял его секретарем; но врач, став государственным мужем, не перестал от этого менее усердно заниматься словесностью, переводя

труды, дотоле неизвестные Западной Европе, и таким образом бросил в Салерно семена научной славы, которая должна была возрасти с крестовыми походами. Его уход в Монте-Кассино, где он окончил свои дни в 1087 году, лишь прибавил к репутации, которую он приобрел. Его украсили прозвищем Нового Гиппократы, титулом Мастера Востока и Запада; предложили на восхищение миру, склонявшемуся перед ним как перед чудом. И однако, Константин, возможно, никогда не был ничем иным, кроме как компилятором и переводчиком, скупым на собственные идеи, расточительным на науку своих предшественников, искусным в том, чтобы переводить на латинский язык, обычный язык школ, принципы, погребенные в книгах Исаака, Али-Аббаса, Галена и Секста Пластиа. Но в эту эпоху глубокого невежества гений, который творит, был бы менее ценим, чем терпение, открывающее чужую мысль. Константин открыл новый путь, по которому робко последовали несколько приверженцев, до тех пор, пока Герард Кремонский одним прыжком не преодолел огромный промежуток, отделявший Средние века от великих веков античности.

Не ищите имени Герарда в исторических словарях, вы его там не найдете: простой работник мысли, он жил без пышности, почти без славы. Чтобы служить науке, он не отступал ни перед какими жертвами, не пугался никакой опасности; чтобы найти манускрипт, он прошел пешком триста лье; чтобы прочесть его, выучил его язык; ему мы обязаны переводом нескольких трудов Гиппократы и Галена, книг Серапиона, Разеса и Альмансура, Канона Авиценны и Хирургии Альбукасиса. Эта Хирургия, драгоценный памятник двенадцатого века, вернула искусству его поколебленное достоинство, анатомии – утраченное превосходство.

Пока под усилиями Герарда ломбардский город Кремона освобождался от уз, которые поработали его варварскими традициями, несколько салернских евреев восприняли и оживили теории, завещанные Константином; так что на восточном и западном краях итальянского полуострова сияли два очага света, которые вскоре сами должны были померкнуть в другом очаге – Университете Болоньи.

Связывая республиканскую независимость больших городов Италии, Констанцский договор (1183) только что открыл народам врата нового будущего. С другой стороны, папство, желая ответить на потребность в образовании, которую испытывала Европа, создало Университеты – легальное средство господствовать, очищать идеи и придавать им направление, которое лишь оно одно, надо сказать, могло тогда эффективно и нравственно контролировать.

Так возникли в Италии Университеты Болоньи, Падуи, Пьяченцы и Неаполя, Школы Модены, Милана, Феррары, Реджо, Пармы и Павии; в Испании – Валенсии и Тортозы, гордые наследницы мавританских академий. Во Франции, в Париже, Монпелье, Тулузе также стали поощрять медико-хирургические занятия. Сначала монополизированные в пользу некоторых людей, клириков или постриженников, которые держались за Церковь посредством своего рода священного усыновления, эти занятия, став более свободными, незаметно вернулись к условиям свободы преподавания, которые они тогда имели в Италии. Каждый ученик мог выбрать себе мастера, которого оплачивал по установленному тарифу. Мастерам запрещалось переманивать учеников друг у друга, и ни один из последних не переходил под обучение к другому мастеру, если предварительно не выплачивал гонорар, причитающийся первому.

Буллы об учреждении факультетов Монпелье, Салерно и Парижа в тринадцатом веке установили научную иерархию, университетские степени, которых прежде не существовало. Но условие быть клириком и постриженником, сохранявшееся в Италии, на Сицилии, скоро вышло из употребления в Монпелье, как и в Париже. В первом из этих двух городов, чтобы стать магистром-физиком или врачом, нужно было быть клириком и пройти экзамен перед двумя магистрами, назначенными из состава коллегии епископом Магелона; чтобы практиковать Хирургию, нужно было также пройти экзамен, но условие клирикураты не требовалось.

В Неаполитанском королевстве метод преподавания напоминал французский. От врача требовали пять лет занятий, включая логику; экзамен, выдержанный в присутствии магистров

салернской школы, и год практики. Хирург должен был пройти специальные курсы в течение года и особенно усовершенствоваться в анатомии человеческих тел, без которой нельзя уверенно делать никакую операцию и вести лечение после применения инструмента. Экзамен проходил перед магистрами искусства и некоторыми королевскими чиновниками.

В ту эпоху хирургическая школа Болоньи превосходила все школы мира. В течение пятидесяти лет она была обязана своим превосходством Якопо Бертиноро, Гуго из Лукки; затем она была обязана им сыну последнего мастера, Феодорику, который воспользовался трудами своего отца, наблюдениями своих предшественников. Ученый Бруно, калабриец огромной эрудиции, и Боландо Каппелути, салернский ученик, но независимый ученик, поддерживали хирургическую практику на севере итальянского полуострова не с меньшим достоинством; в то время как на юге Салерно приходил в упадок, Мессина не могла возвыситься, а Неаполь пребывал в беспечной летаргии, несмотря на усилия хирурга Роже и его учеников, несмотря на желания, могущество и просвещенный, хотя и деспотичный импульс императора! С тех пор – борьба самолюбий, борьба доктрин между южно-итальянскими и северными школами, между мастерами и учениками, по-разному толковавшими Гиппократ и Галена. До хрипоты спорили о сухом и влажном, когда появился Гийом де Саличет, который стал, в свою очередь, создателем третьей школы.

Уроженец Пьяченцы, Саличет достиг апогея своей славы по крайней мере за двадцать лет до того, как написал трактат по Хирургии, начатый в Болонье около 1270 года, законченный в Виченце в 1275 году. До 1270 года он скорее практиковал, чем преподавал; попеременно то в лагерях, то в больницах, то среди граждан важных городов, таких как Бергамо, Пьяченца, Павия, Болонья, Верона, где этот великий хирург попеременно останавливался, в зависимости от случаев, по которым его призывали, или привилегий, которые он получал от городских управлений. Саличет, кажется, не игнорирует ничего из того, что составляло хирургическую науку тринадцатого века, но он мало придает значения тщеславной выставке эрудиции. Если он тут и там называет некоторых авторов, то чтобы изучить, обсудить их приемы; если он идет новыми путями, то опираясь на свой опыт; если он делает нововведение, он его обосновывает. Его теории вовсе не исключительны; уважение, которое он питает к арабам, его не ослепляет.

Именно в школе Саличета, своего мастера доброй памяти, сформировался Ланфранко, клирик, как и он, одновременно врач и хирург, и, более того, политический деятель, поскольку Маттео Висконти изгнал его из Милана. Вынужденный просить убежища во Франции, он принес нашей национальной Хирургии зарю новой эры; ибо до него она оставалась, как в Испании, как в Германии, без публичного и отдельного преподавания, скованной цепями медицинского всевластия. Каждый хирург или хирургиня обещали, *per juramenta sua*, никогда не переступить границ искусства, дела рук; не советовать и не назначать никакого внутреннего средства без совета или разрешения врача. Хирургу оставляли, хотя и с ограничениями в тяжелых случаях, возможность действовать; ему запрещали свободу мыслить.

После нескольких лет пребывания в Лионе, после нескольких поездок по провинции, куда его призывало общественное доверие, Ланфранко решает подняться на более крупную сцену и приезжает в 1295 году поселиться в Париже, где царил мастер Жан Питар, первый хирург короля. Питар принял Ланфранко так, как заслуживал человек его отличия. Жан Пасаван, декан Факультета, поступил еще лучше; он просил его, от имени профессоров, своих коллег, открыть курс Хирургии. Ланфранко охотно согласился; и чтобы его наставления не пропали, он записал текст уроков, которые приходило слушать множество слушателей.

Эти уроки, к несчастью, длились не слишком долго. Ланфранко, уже старый, истощенный лишениями и горестями изгнания, завершил свой путь, оставив после себя прилежных учеников, но ни одного человека, наследника его гения.

Я не сомневаюсь, что Ланфранко первым занимал кафедру Хирургии на нашем Факультете, ибо регламентирующее постановление парижского прево, которое в тринадцатом веке,

по совету добрых людей и мудрых мужей ремесла, выбрало шесть лучших и вернейших хирургов, чтобы экзаменовать тех, кто будет достоин заниматься хирургией, не говорит ни слова о принятом способе обучения. Из этого любопытного постановления, кажется, следует, что до его обнародования в Париже практиковал почти кто хотел, мужчины и женщины, некоторые и некоторые, отчего следовали смертельные опасности для людей и увечья членов. Учреждение присяжных хирургов-экзаменаторов стало, таким образом, великим благодеянием. Оно открыло искусству новую эру уважения и будущего; оно отделило хирурга от простого цирюльника. Но как получилось, что такой мудрый прево не пощадил совесть практикующего, когда запретил ему перевязывать или заставлять перевязывать кем-либо какую-либо рану, какую бы то ни было, кровоточащую или нет, из-за которой должна последовать жалоба в суд, больше одного или двух раз, если есть опасность, чтобы он не дал знать прево? Это было навязыванием хирургу роли доносчика. По правде говоря, сведущие люди считались ремесленниками, и мало беспокоились о нравственном достоинстве работника.

Во Франции, как в Италии, в Италии, как в Испании, в серьезных обстоятельствах большие операции не были предоставлены ни воле больного, ни произволу практикующего, будь он даже выдающихся достоинств. Требовалось предварительное разрешение либо епископа, либо сеньора местности; требовалась торжественная консультация в присутствии семьи и друзей больного, которые обещали, клялись, если не подписывали формальное обязательство о приличном вознаграждении, установленном заранее. Так, около середины тринадцатого века Роланд Каппелути, призванный в Болонью по случаю легочной грыжи, считает операцию срочной; но прежде чем удалить грыжевую часть, уже впавшую в гниение, он просит разрешения у епископа, обеспечивает согласие семьи, согласие тридцати друзей пациента, присутствующих на консультации, и не хочет брать в руки режущий инструмент до получения положительного билля об освобождении от ответственности и, без сомнения, также разумной суммы.

Есть основание удивляться, что рядом с щепетильностью власти в отношении серьезных операций, предпринимаемых известными хирургами, проявляется так мало заботы о ежедневных малых операциях, гораздо более частых, таких как кровопускание, применение прижиганий, едких веществ и банок. Мирские хирурги, цирюльники, даже женщины практиковали эту малую хирургию без малейшего контроля. Более того, хирурги-клирики или присяжные сочли бы унизительным заниматься этим. В конце тринадцатого века они уже не делали пункцию при водянке; они не оперировали ни камень, ни грыжи, ни катаракту; они оставляли повивальным бабкам, *propter honestatem*, все манипуляции, относящиеся к заболеваниям половых частей!.. По правде говоря, настоящие хирурги поступали не так. Они не отступали ни перед какой операцией, какой бы малой она ни была; точно так же они сочли бы унижением своей хирургической профессии, если бы не соединили с ней добросовестное изучение внутренних болезней. Простонародье, говорит Ланфранко, считает невозможным, чтобы один человек мог знать медицину и Хирургию. Однако нельзя быть хорошим врачом, если не имеешь никакого понятия о хирургических операциях; хирург – ничто, если он не знает медицины: он абсолютно должен знать различные части этой науки.

Начинается новый век, который будет характеризоваться постоянной борьбой между врачами и хирургами, между хирургами и недавно эмансипированными цирюльниками. Филипп Красивый, казалось, предчувствовал эту неутомимую борьбу: ибо в 1301 году, в понедельник после середины августа были созваны все цирюльники, занимающиеся хирургией, и им было запрещено под угрозой телесного наказания и конфискации имущества, чтобы те, кто называют себя хирургами-цирюльниками, не занимались искусством хирургии до тех пор, пока не будут экзаменованы магистрами хирургии, дабы узнать, достаточно ли они сведущи в этом ремесле. К несчастью, злоупотребление уже имело больше власти, чем королевский эдикт. Цирюльники избежали его, заботясь о том, чтобы не узурпировать титул хирурга. Десять лет спустя Филипп Красивый повторяет тот же запрет против убийц, воров, фальшивомонетчиков,

шпионов, грабителей, обманщиков, алхимиков и ростовщиков, которые смеют практиковать хирургию, вывешивая знамена на своих окнах, как настоящие хирурги, перевязывая и посещая раненых в церквях и привилегированных местах и т.д. Он обязывает их предстать перед Жаном Питарди, присяжным хирургом Шатле, при содействии других присяжных магистров-хирургов, пройти пробный экзамен и практиковать лишь в той мере, в какой они получают лицензию и принесут присягу в руках прево. Филипп Красивый не называет цирюльников. Можно было бы подумать, что они из снисхождения освобождены от предписанных формальностей. Позднее они были строго им подчинены.

Благодаря гению Ланфранко хирургическое искусство поднялось на Парижском Факультете на всю высоту академического преподавания; французское искусство больше не завидовало искусству Западной Италии; и когда Ланфранко сошел в могилу, два умелых практика, Жан Питар, Анри де Мондевилль, оба ученика знаменитого миланского хирурга, не дали упасть ни одному плоду его учения. Европа стала отвыкать отправлять учеников Эскулапа исключительно за Альпы; в Парижскую школу стали приходиться из Англии, Германии и Швейцарии; в школу Монпелье – из Испании, Италии и Сицилии, но почти все предварительно останавливались в Болонье, где анатом Мондино ежегодно вскрывал два или три трупа.

Тем не менее, несмотря на интерес, привлекаемый преподаванием Мондино и его соперника и преемника Бертулчи, гражданские смуты в конце концов серьезно поставили под угрозу будущее итальянских школ. В 1325 году множество учеников покинули Болонью; в 1334 году постановление против всякого, кто унесет книги без формального разрешения, свидетельствовало еще больше о чувстве ревнивого соперничества болонцев, чем о ценности, которую имели для них сокровища науки.

Наследница части научных ресурсов Востока в отношении медицины, с успехом оспаривающая у итальянских школ медицинский скипетр, им вверенный, и не допускающая малейшего вторжения в свою область, Школа Монпелье, мучимая хирургической славой, которую недавно приобрел Парижский Факультет, не пренебрегала ничем, чтобы затмить его. Выдающийся человек, сын обстоятельств, но еще более сын своих трудов, Ги де Шолиак, пришел тогда ей на помощь. Он был почти единолично всей хирургией своего века. Ученик Раймона де Мольера в Монпелье; Мондевила в Париже, Перегрини и Меркаданте в Болонье; ученик всех выдающихся практиков, которых он встречал то в Италии, то в Германии, то во Франции; ставший в течение двадцати пяти лет врачом, хирургом, капелланом и сотрапезником пап в Авиньоне, Ги черпал из главных источников просвещения ученой Европы, когда завещал ей свою Великую Хирургию, восхитительный памятник эрудиции, ясного метода и критического духа. Эта Хирургия принадлежит не больше Школе Монпелье, чем Школе Парижа; она принадлежит Франции, одной из прекраснейших слав которой она является.

После Ги де Шолиака все другие хирургические репутации эпохи сильно бледнеют. Бенвену Граф – всего лишь специалист; англичане Гаддесден и Ардерн, его ученики, как и он, французских школ, лишь перенесли в Англию теории, приемы, собранные среди нас; Николя Кателан, Пьер де Бонан, Пьер д'Арль, Жан де Парма и т.д., видные хирурги Тулузы, Лиона и Авиньона, не оставили писаний, и память о них и их учениках померкла в политических бурях, от которых так пострадали наши южные города.

Пока Монпелье энергичными усилиями пытался сохранить хирургический скипетр, перешедший из Италии в его руки, скипетр, который скоро должна была сломать княжеская ярость (разграбление Монпелье герцогом Анжуйским в 1379 году), Парижский Факультет возвращался к своей первоначальной нетерпимости. Раздраженный, быть может, тем, что корпорация хирургов образуется независимой, он захотел установить абсолютную преграду между двумя профессиями. В своих уставах, собранных, исправленных и возобновленных при деканате Адама де Франшвиля (1350), он включил постановление, в силу которого бакалавры, допущенные к чтению своих курсов, обещали, *per juramenta sua*, не заниматься ручной Хирур-

гией. В то же время он возобновил один из своих старых уставов, запрещавший хирургам переступить границы их ремесла. Они по-прежнему приравнивались, как в прошлом, к аптекарям и аптекаршам, травникам или травницам, всем подданным Факультета. Эта гордая Школа, единственная во владении публичными курсами, удерживала таким образом хирургов в своих цепях; они были ее школярами, ее обязательными, почти ее слугами, связанными торжественной клятвой, от которой, без сомнения, ускользали лишь врачи-хирурги из сословия клириков, такие как Ланфранко, Питар и Мондевиль.

В апреле 1352 года Пьер Фромон и Робер де Лангр, тогда присяжные хирурги Шатле в Париже, получив от короля Жана эдикт, абсолютно идентичный эдикту Филиппа Красивого, захотели присвоить себе исключительное право экзамена. Остальные хирурги запротестовали. Между заинтересованными сторонами состоялось соглашение, и все оставалось вне решенного до тех пор, пока постановление парламента, вынесенное 25 февраля 1355 года, не установило, что отныне прево хирургов будет присоединен к присяжным хирургам Шатле, как для созыва магистров, лиценциатов названного Факультета, так и для председательствования на экзаменах и выдачи лицензии. Это первый раз, когда мы видим фигурирующим прево хирургов. Тем не менее, постановление опирается на несколько королевских привилегий короля святого Людовика и нескольких королей, бывших после. Пакье ставит под сомнение эдикт святого Людовика и прямо приписывает его свободе пера, которым довольно часто злоупотребляют в суде; но мы указали выше на его подлинность, перед которой рушится нагромождение средств, накопленных Факультетом против коллегии Сен-Кома.

Присоединение короля Карла V к этому хирургическому братству придало ему блеск, важность, на которые сетовал Факультет. В память об этом присоединении монарх, воспроизводя термины предыдущих эдиктов и постановления от 25 февраля 1355 года, подтвердил своих новых собратьев в пользовании правами, которыми они обладали (1364). Таким образом, прево хирургов оказался окончательно присоединен к присяжным хирургам Шатле с санкции первого Суда королевства и по воле короля. Это завоевание сделало хирургов честолюбивыми. Ревнуя к врачам, которые держали их по возможности на расстоянии, они имели серьезную вину в том, что действовали против цирюльников с той же нетерпимостью и тем же пренебрежением. Цирюльники, удерживаемые ими в своем ремесле, запротестовали. Карл V выслушал их благосклонно. Он даже освободил их от ночной стражи, ибо часто случается, говорится в тексте изданного по этому случаю ордонанса, что иные из вышеназванных, почти все занимающиеся делом Хирургии, посылаются ночью по большой нужде за неимением Врачей и Хирургов названного города, отчего, если бы вышеназванные не были найдены в своих домах, могли бы последовать многие великие опасности и неудобства. (Ордонанс 1365 года.)

Хирурги приняли без ропота – да иначе и нельзя было – эту справедливую уступку, сделанную цирюльникам, но с тайным намерением получить впоследствии какую-нибудь компенсацию. В самом деле, пять лет спустя король освобождает их от ночной стражи и караула при условии, что они будут посещать и перевязывать бедных, которые не могут быть приняты в больницы. Королевский ордонанс, очевидно составленный каким-нибудь делегатом корпорации, именуется их бакалаврами, лиценциатами по хирургии, университетскими титулами, под которыми они укрывались под королевской мантией, чтобы впоследствии их отстаивать. Как бы то ни было, еженедельные консультации, которые прежде происходили в оссуарии Сен-Кома, консультации, на которых присутствовали бакалавры и ученики-хирурги, по-видимому, датируются 1370 годом. На этот раз узурпация обратилась на пользу человечеству.

Видя последовательные вторжения, которые совершали хирурги, их мастера, парижские цирюльники тщательно разыскивали старинные документы своей общины, чтобы сохранить некоторую независимость. Не найдя их, они попросили Карла V их возобновить; что он и сделал. Новые уставы гласят, что первый цирюльник и камердинер короля есть и должен быть хранителем названного ремесла, как и прежде, и что он может назначать лейтенанта, кото-

рому должно повиноваться как ему самому во всем, что к названному ремеслу относится и будет относиться; что никакой цирюльник какого бы то ни было положения не должен исполнять должность цирюльника в названном городе и предместьях, если он не испытан названным мастером и двумя присяжными, способом и согласно тому, как было принято в прошлое время и как еще есть в настоящее. Строго запрещено переманивать ученика или слугу у другого; заниматься делом цирюльничества, помимо кровопускания и постановки банок в определенные праздники года, и т.д.

Хирурги, не перестававшие вторгаться в область медицины, но отнюдь не менее деятельно защищавшие свою собственную область, находя широту деятельности, оставленную цирюльникам, слишком большой, сделали так, что в конце концов утомленная власть ограничила формальным и точным образом права одних и других. Этот замечательный ордонанс появился 3 октября 1372 года. Он разрешает цирюльникам применять пластыри, мази и другие подходящие лекарства от ран, нарывов и всех открытых язв, если только случай не может повлечь смерть, ибо присяжные врачи – люди великого состояния и великого жалования, и бедные люди не знали бы, как им платить. Таким образом, практикующие остались разделены на три отчетливо различных класса: практики в красных одеждах, врачи или физики; хирурги в коротких одеждах, образующие братство под покровительством святых Космы и Дамиана, и цирюльники, носящие шпагу, бесспорно исполняющие должность цирюльника. По всей Франции была та же организация, та же разделительная линия, с той разницей, что в некоторых провинциях, как Бургундия и Лотарингия, различали великих цирюльников и малых цирюльников. Тибо, герцог Лотарингии, дает по завещанию дом Жакмену-цирюльнику, и всего лишь десять турецких ливров малому цирюльнику. Эти малые цирюльники, деревенские брадобреи, настоящие подмастерья, ходили из общины в общину, продавая антидоты и снадобья, заключенные в их коробочке; тогда как великий цирюльник, присяжный хирург, выбирал больных и важно ехал на иноходце, чьи огромные бубенцы возвещали о его прибытии. Он носил в своем дорожном мешке, или ящичке, пять или шесть видов инструментов, а именно, ножницы, щипцы, зонды (род пуговчатого стилета), бритвы, ланцеты и иглы; он имел, кроме того, при себе пять мазей, слывших незаменимыми: базиликон, считавшийся созревающим; мазь апостолов, чтобы изменить способ жизнедеятельности частей; белую мазь – для их упрочения; желтую мазь – для обрастания плотью или выращивания мясных почек, и мазь диатею – чтобы успокоить местную боль. Ревнителю далеко не ограничивались этим. Что до меня, говорит Ги де Шолиак, я имел обыкновение никогда не выезжать из городов, ненося с собой сумку с клистирами и некоторыми общеупотребительными вещами; и если мне приходилось искать травы по полям с вышеозначенными средствами, чтобы надлежащим образом помогать при болезнях, и так я приносил честь, пользу и большое число друзей.

Ги хочет, чтобы хирург был учен, опытен, изобретателен и хорошо воспитан; чтобы он был отважен в верных вещах, робок в опасностях; чтобы он избегал дурных излечений или практик; чтобы он был милостив к больным, благожелателен к своим сотоварищам, мудр в своих предсказаниях; чтобы он был целомудрен, воздержан, жалостлив и милосерден; не корыстолюбив, не вымогатель денег, но получал бы умеренное вознаграждение сообразно своему труду, состоянию больного, качеству исхода или события и своему достоинству.

Французская Хирургия должна гордиться, что один из ее славнейших магистров исповедовал столь благородные принципы, тем более что наши соседи, англичане, эксплуатировали левоверное человечество самым непристойным образом. Гаддесден имел свои рецепты для богатых и свои рецепты для бедных. Он продавал очень дорого цирюльникам незначущий состав, в который входили толченые лягушки; он пышно возвещал секреты, творящие чудеса, в которые сам не имел ни малейшей веры, раз советовал требовать за них плату заранее. Распространение его книги – дело шарлатанства при свете дня. Ардерн, ученик Гаддесдена, ни в чем ему не уступает в отношении умения устраиваться. Он хвалится изобретением операций,

известных и до него; он старается распространить употребление клистира, клистира, вводимого при определенных условиях, два или три раза в год, и им самим. Ломбардцы, которым поручено в Лондоне это делание, исполняют его очень плохо, уверяет он; это дело высочайшей важности, дело по существу хирургическое, требующее величайших предосторожностей и содействия совершенного мастера. Лорды, напуганные воображаемыми опасностями, которым они подвергались, опасностями, которым они могли бы еще подвергнуться, наперебой требовали пользоваться искусной манипуляцией Ардерна, который оценивал свои промывания в непомерную для эпохи цену. Надо ли удивляться, если он умер обремененный уважением и деньгами?

В Париже упорная борьба между хирургами и цирюльниками продолжалась. Хирурги, не довольствуясь тем, что одни избегли приговора об отмене (1382), упразднявшем цехи, чтобы наказать мятежных парижан, подали против цирюльников, возвращенных в милость, прошение Университету: Мы, ваши смиренные школяры и ученики, говорили хирурги врачам, мы пришли к вашим достопочтенным владычествам... и врачи, восхищенные такой покорностью, обещали поддержать хирургов, *tanquam veri scholares et non alias*. Но то ли доктора переменили мнение, то ли власть захотела охранить общественные интересы за счет интересов привилегированного корпуса, Карл VI сковал цепь хирургов и утвердил, подчеркнутым молчанием, профессиональную независимость цирюльников. Хирурги придумали тогда другой путь эмансипации, единственный достойный, единственный прибыльный и прочный – путь учения. Отныне всякий ученик будет клириком-грамматистом, чтобы сочинять и говорить на хорошей латыни; он будет, кроме того, статен и хорошо сложен; никакой мастер не примет его, пока он не будет иметь от последнего мастера добрых открепительных писем, и бакалавриат, без предварительного экзамена, будет стоить два золотых экю вместо одного франка.

Эти распоряжения, принятые в 1396 году, очевидно имели целью призывать к хирургической магистерской степени Сен-Кома лишь лиц богатого, почтенного состояния, способных поддерживать аристократию корпуса против вторгающейся демократии Цирюльничества. Выбор должен был быть легок среди учеников, раз существовало всего десять присяжных хирургов Сен-Кома. Цирюльники же, напротив, в неограниченном числе, стремились умножаться. В Париже их насчитывалось около сорока к середине века и около шестидесяти к концу. Степень уважения, которым они пользовались по сравнению с врачами и хирургами, может быть измерена цифрами: в 1333 году, когда Факультет назначил докторов, хирургов и цирюльников для ухода за чумными, доктор-врач получил 300 парижских ливров, хирург – 120 ливров, цирюльник – 80 ливров.

Ничто определенно не указывает, какой способ обучения следовали ученики; но его легко вывести из совокупности статей, составляющих хартию коллегии. Требовалось, чтобы мастер имел четыре года с момента приема, чтобы взять ученика, который клялся соблюдать уставы, и в течение более или менее долгого времени следовал за своим мастером в гражданской клиентеле, в больницах и присутствовал с ним на собраниях братства. Когда мастер объявлял его способным представиться к лиценциатуре, он проходил экзамен. Он давал клерку, приставу общины, 2 франка деньгами или свою одежду, при условии, что она представляла эту ценность; он платил 12 золотых экю, прежде чем принести присягу в руках прево, и когда он шел получать в капитуле Отель-Дьё магистерский колпак, он должен был сделать подарок каждому магистру – добрый колпак двойного окраса в алый цвет или сумму в 15 су и пару двойных фиолетовых перчаток с каймой и шелковыми кистями. Бакалавры, его прежние коллеги, также должны были получить перчатки, и после церемонии за его счет устраивался обед. Публичные собрания братства происходили в церкви Сен-Жак-ля-Бушри. Место жительства братьев обозначалось большими знаменами, вывешенными на окнах, знаменами, изображавшими святых Косму и Дамиана, и под которыми фигурировали три коробочки.

Проходит пятьдесят лет, в течение которых итальянская хирургия, остававшаяся в застое, скомпрометированная множеством эмпириков, не знавшая о прогрессе французской Хирургии, предлагает лишь одного ученого практика, Николо из Флоренции, *doctor excellentissimus*; да и тот не знает ни Ланфранко, ни Мондевиля, ни Ги де Шолиака. Почти рабский пересказчик Авиценны и Разеса, он оставил чудовищную компиляцию, которая не могла быть отмечена в летописях искусства. Пьетро д'Арджеллата гораздо лучше выбрал свой текст. Ученик Ги де Шолиака, он бесстыдно списывал его, ни разу его не цитируя; он приобрел своими научными кражами не менее, чем смелостью своих операций, такую известность, что ему воздвигли стацию в амфитеатре Болоньи. Но изображение Арджеллаты не подняло более этого падшего Университета, чем антидоты Леонардо Бертапальи, Книга о переломах Бартоломея из Рабиса, преподавание Аркулана, Монтаньяны и Градиуса не удержали школы Падуи, Венеции, Пармы, Феррары и Павии на склоне их упадка. Анатомия тщетно бросала несколько лучей. С того момента как слова Галена или Авиценны противоречили фактам, факты оставались ради слов мастера, и ошибка увековечивалась таким образом, несмотря на очевидность. Они следуют друг за другом, как журавли, ибо один говорит лишь то, что сказал другой, восклицал Ги де Шолиак, говоря об итальянских хирургах. Не знаю, из страха или из любви они удостоивают слушать меня только то, что привычно и доказано авторитетом. Так вот, более века тот же упрек был строго применим.

Астрология узурпировала область практического наблюдения. Время еще не пришло, когда хирургическая наука, извлекая пользу из умножения книг, сбросит цепи арабизма и обратится к благам Возрождения.

Надо ли удивляться, что в пятнадцатом веке специалисты присвоили себе все доверие публики, особенно когда эти специалисты звались Бранка, Нурсинус или Норса: Бранка – дерзкие восстановители ринопластики; Норса – которые ампутировали яичко для лечения водянки, которые делали камнесечение и кастрировали ежегодно несколько сотен человек с грыжей, до тех пор пока употребление бандажа не сделало эту ужасную увечность менее частой. Наш Жермен Коло обязан Норсам знанием высокого аппарата, метода, который он с таким большим успехом применил на франк-арбалетчике из Медона, отданном как жертва его смелому ножу.

Германия, отсталая, клеймившая позором банщиков, пастухов, живодеров и хирургов-цирюльников, препятствовавшая им войти в какой-либо цех и породниться с честной семьей; Германия, с хирургической точки зрения, предлагала еще меньше ресурсов, чем Италия: свидетель король Матвей Корвин, который, чтобы излечиться от раны, вынужден призывать, умолять цирюльников всей Империи и делать им самые соблазнительные обещания, если они только соизволят прибыть к его двору. Ганс из Доккенбурга, хирург-цирюльник из Эльзаса, вернул ему здоровье (1468); но ничто не доказывает, что подобный успех прибавил тогда какое-либо уважение к его братству.

По ту сторону пролива – та же скудость. Преемники Ардерна, Гилберт и Ричард, – фабриканты, разносчики пластырей, скорее чем хирурги. В 1415 году, когда Генрих V пришел атаковать Францию, он имел при своей особе лишь одного хирурга, Томаса Морстеда, который обязался, и не без труда, следовать за ним с двенадцатью людьми своей профессии. Во второй экспедиции эти двенадцать добровольцев невозможно было собрать. Король тогда разрешает Томасу Морстеду брать насильно на борт всех необходимых хирургов и присоединять к ним рабочих для изготовления инструментов. Со всех концов Европы, значит, все еще в нашей Франции приходилось искать выдающегося оператора. В Монпелье преподает и практикует Бальескон из Таранто, но он проповедует и действует среди неверных.

После тридцати лет видимого согласия борьба хирургов и цирюльников Парижа возобновилась. 4 мая 1423 года хирурги получают от прево общий запрет всем лицам какого бы то ни было состояния и положения, не хирургам, даже цирюльникам, заниматься или вмешиваться в дело Хирургии. Интердикт возвестили трубным звуком на всех перекрестках Парижа;

но тотчас же цирюльники опротестовали перед самим прево, который признал их правыми 4 ноября 1424 года. Затем – апелляция братств Сен-Кома в Парламент. Отвергнутые в своих притязаниях, хирурги в своем бессильном гневе поклялись все 28 сентября больше не посещать ни одного больного с цирюльником; и, чтобы подготовиться к новым враждебным действиям, которые должны были возникнуть, они сбили монету, наложив на бакалавров марку серебра, выплачиваемую в течение шести недель после лиценциации. Тщетные предосторожности. Час окончательной эмансипации цирюльничества по всей Франции должен был пробить. Уже цирюльники Монпелье, Бордо, Руана, Тулузы и т.д. существовали как независимые корпорации, подчиняясь исключительно муниципальному управлению; уже цирюльники Берри, Пуату, Оверни, Лангедока, Гиени, Мэна, Сентонжа, Турени признавали непосредственным начальником персону первого цирюльника и камердинера короля. Оставалось лишь организовать эту обширную ассоциацию и придать ей единство и всеобщность, которых ей недоставало. Кольме Кандильон, первый цирюльник, первый камердинер регента и двух королей, сумел этого достичь. Объявленный магистром и хранителем ремесла, имея власть создавать себе в добрых городах лейтенантов, которые пользовались исключительным правом надзора и инспекции над всеми цирюльниками, которые сами были уполномочены представлять себя доверенными цирюльниками, практикующие ремесла образовали сеть, вне которой никто не мог открыть мастерскую и быть магистром без экзамена перед присяжными, назначенными лейтенантом. Каждый новый магистр цирюльничества получал запечатанное письмо под печатями первого цирюльника за пять су и получал от него же копию альманаха (арменака), составленного на год. Эта копия стоила ему два су шесть денье турнуа, сумма значительная для эпохи; но никто не подумал бы заплатить слишком дорого за указательную книжечку критических и некритических дней относительно своевременности кровопускания.

Ордонанс об учреждении магистра цирюльников был возобновлен много раз, ибо в каждой провинции, в каждом городе поднимались претенциозные соперничества; ибо вместо того чтобы довольствоваться скромным титулом цирюльника, называли себя хирургами, художниками в Хирургии, присяжными в Хирургии и цирюльничестве; ибо выдумывали или извлекали из пыли некоторые муниципальные или княжеские ордонансы, чтобы ускользнуть от всевластия первого королевского цирюльника.

В Париже хирурги Сен-Кома, уже не смея бороться одни против цирюльников, особенно когда Оливье-ле-Ден, этот любимый цирюльник Людовика XI, овладел ухом своего господина, умоляли о титуле школяров Университета, а также о привилегиях, франшизах, вольностях и иммунитетах, которые влек за собой такой титул. Университет согласился, но при условии, что эти тщеславные, непокорные, невежественные школяры будут посещать лекции докторов-регентов Факультета. Вот хирурги снова поработаны, тогда как парижские цирюльники получают одно из шестидесяти одного знамени, которые Людовик XI распределяет цехам столицы; вот хирурги, не признающие своей специальности до такой степени, что оставляют разрезы, вывихи, переломы, чтобы выписывать предписания, что было делом магистров Факультета, а не хирургов.

Перевод Великой Хирургии Ги де Шолиака, сделанный Николя Пани, появился в 1478 году в Париже; извлечение из того же сочинения, Руководство по практике Хирургии для цирюльников и хирургов, было опубликовано в 1485 году в том же городе. Это был двойной источник занятий, открытый для неученых учеников. К несчастью, покупка таких книг превышала их денежные средства. Факультет Монпелье задумал тогда учредить курс Хирургии, куда бы приходили учиться ремеслу цирюльники. Другое препятствие: достоинство Университета не позволяло ему употреблять язык, не бывший латинским, а цирюльники не понимали этого языка. Пошли на компромисс. Профессор читал текст и комментировал его на жалком жаргоне, полулатинском, полуфранцузском. В Париже в 1491-1494 годах курсы анатомии и Хирургии, созданные в пользу цирюльников, читались тем же способом. Это печальное пре-

подавание длилось почти полвека, прежде чем быть окончательно переведенным на наш национальный язык; и все же ему мы обязаны Симфориеном Шампи и Ипполитом д'Антрепом, единственным французским цирюльником, которого итальянский Университет возвел в почести доктората.

Теперь все кончено; плебейская Хирургия торжествует над хирургической аристократией; братство Сен-Кома, превзойденное цирюльниками, сводится к печальной роли умолять о милости присутствовать на вскрытиях Факультета, и Факультет, в свою очередь, начинает вмешиваться в приемы в хирургические магистерства, рецепции, исключительной привилегией которых хирурги владели недавно. Цирюльники составляют действительно деятельную, действительно полезную часть хирургического корпуса. Именно цирюльников встречают в эпидемиях, в дальних экспедициях, на войнах. Военной Хирургии не существовало бы без них. Карл Смелый, выдающийся ум, столь же глубокий организатор, сколь бесстрашный воин, имел четырех хирургов-цирюльников на службе своего дома и двадцать двух на службе своей армии, которая насчитывала около двадцати тысяч человек. Король Карл VII не имел свободы выбора между хирургом Сен-Кома в длинной одежде и своим цирюльником. Хирург в длинной одежде предпочитал свою клиентелу неопределенным привилегиям беглого монарха.

По ту сторону Альп знаменитый флорентиец Антонио Бенивени только что славно закрыл пятнадцатый век, свершив правосудие над арабами, обратившись к древним, опираясь на анатомические изыскания, даже патологоанатомические; он оставляет Джованни да Виго, Джованни Беренгарио да Карпи продолжить свое дело: ни тот ни другой не подведут.

Виго обладает большой ученостью, большой литературной подготовкой; он проявляет некий дух наблюдения и движется, поддерживаемый высокой и многочисленной клиентелой. Его сочинение, озаглавленное Обширная практика, будет иметь более двадцати изданий за тридцать лет; его наставления, большей частью заимствованные у его предшественников, будут повторяться в мире как оракулы, и его Книга о французской болезни популяризирует его в городах, как его Трактат о огнестрельных ранах сделает его известным в армиях. Более успешный против венерических заболеваний, чем он когда-либо был против расстройств, причиняемых порохом, он задумал ужасную мысль прижигать раны кипящим маслом, чтобы уничтожить в них мнимый яд, и послужил оправданием для своих варварских подражателей.

Беренгарио, анатом и хирург, не менее ученый, чем Виго, но также не менее хвастливый, заслуживает хорошего места в анналах эпохи из-за Трактата о переломах черепа и разумной мысли относительно огнестрельных ран, беспорядки от которых он приписывает контузии и сожжению. Это было открытием, в этом последнем отношении, половины истины. Он поднял школу Болоньи из дискредитации, в которую она впала с хирургической точки зрения.

Неаполитанец Мариано Санкто, переписчик других, расхититель своих учителей, не щадящий ни Беренгарио, ни Виго, много путешествовал и стал в значительной части специалистом наподобие Джованни де Романиса, чьи приемы при болезнях мочевого пузыря он следовал и опубликовал. Он и Тальякоцци были последними итальянскими хирургами шестнадцатого века, достойными упоминания. Вокруг них и после них видишь лишь невежественных компиляторов или бесстыдных шарлатанов; не боящихся вписывать в свои книги эту гнусную максимуму корыстного интереса: Лишь те, кто хорошо платят, хорошо лечатся; других оставляют (Блонд или Биондо).

В то же время Аматус из Португалии распространял в Европе употребление бужей при заболеваниях мочевого пузыря; Коло, наследники уже знаменитого имени, внедряли в Париже продуктивную и блистательную специальность – извлечение камня большим и высоким аппаратом; тогда как в Болонье Гаспаро Тальякоцци возобновлял, умножал чудеса ринопластики, счастливый специалист, которому признательный город поставил статую, изображавшую его с носом в руке, в свидетельство его триумфов.

Эксплуатируемая костоправами и эмпириками, рыцарями-терапевтами, которые перевязывали все раны заговорами и зельями, маслом, шерстью и капустными листьями, немецкая Хирургия тщетно просила руководства у Пражского университета, у Лейпцигского университета; ей нужно было прежде всего другое – честь и свобода. И вот, посмотрите, как она влачит существование, когда медицина движется со всей энергией импульса, который влечет за собой книгопечатание; прочтите любопытные письма Иоганна Ланге и посетуйте вместе с ним о печальной участи Германии, целиком отданной астрологам, странствующим евреям, приспешникам невежества и суеверия. Когда после своего возвращения в Германию тот же Ланге, подготовленный в итальянских школах, заставил изготовить трепан, *abapriston*, чтобы посвятить практиков Севера в манипуляцию инструментом, новым для них, те, восхищенные и пораженные, воскликнули: Доктор Ланге, ты напрасно будешь искать трепаны в Германии, ибо у нас нет хирургических инструментов; здесь существуют лишь колокола и дети для крещения.

Художники, однако, не отсутствовали повсюду. Замечательная вещь! Имперские города, Гамбург, Франкфурт, Страсбург, республиканские города Швейцарии находили в своей либеральной конституции интеллектуальные ресурсы, обращавшиеся на пользу искусства. Изобильные витражистами, искусными резчиками образов, смелыми архитекторами, бесстрашными бомбардирами, они были не менее изобильны операторами-цирюльниками. За отсутствием публичного преподавания, эти цирюльники вопрошали своих мастеров, своих современников, собственный опыт. Они становились искусными силой увиденного. Именно так, по всей видимости, сформировались Иероним Брауншвейгский, Иоганн Герсдорф и Реслин, весьма видные хирурги Страсбурга. Они создали там школу и своими книгами, и своей практикой: *Buch der Chirurgia* Брауншвейгского, опубликованная в самом Страсбурге в 1497 году, удостоилась различных изданий и английского перевода; *Feldbuch der Wundarzney* Герсдорфа получило еще более общий прием, и оно заслуживало его ясностью своего метода. Италия, Голландия присвоили его, переведя. Что касается Реслина, он дал превосходные советы по акушерскому искусству. Эти трое людей были анатомами настолько, насколько позволяла эпоха. Им обязаны многими выдающимися учениками, среди которых Вурц, Леонард, Фукс, Германн Рюфф, Дриандер и т.д., которые преподавали с блеском в городах Базеле, Тюбингене, Нюрнберге, Марбурге и т.д., ставших филиалами матери Эльзасской Школы.

Швейцарец, алхимик, философ, врач, неутомимый путешественник, ищущий истину где угодно, в диких или пустынных местах, лишь бы иметь надежду встретить ее, презирующий слова мастеров, если они не опираются на опыт, предчувствующий будущее и на каждом шагу сбрасывающий тяжелое бремя прошлого, Парацельс, наконец, это все сказано, только что ринулся в неизвестное. Базель, Кольмар, Нюрнберг, Аугсбург, Ульм, Вена, Миндельгейм, Зальцбург, другие города еще с изумлением присутствовали при последовательных рожденьях его доктрины. Он ослеплял их блеском оживленной, живописной, оригинальной речи; он говорил с ними на их языке. Как осмелиться упрекать его за осторожность в отношении хирургических операций, когда он так возвышает, так хорошо объясняет целительную силу природы? Как критиковать у него злоупотребление мазями и пластырями, когда по случаю их употребления он открывает некоторые пункты доктрины, в удивительной точности которых мы сегодня признаемся? Парацельс оставил за собой длинную борозду света. Ни один из его современников не дал науке воспользоваться ею, ибо нужно было следовать за ним с факелом гения; но терапия и лечение ран обязаны ему важными открытиями, к которым многие современные практики, даже Ганеман, предполагаемый отец гомеопатии, прикрепили свое имя.

Утрата Парацельса, умершего в 1541 году, была скоро возмещена энциклопедическими публикациями знаменитого Конрада Геснера, преподаванием цюрихца Якоба Руффа, превосходной практикой Франко как в Берне, так и в Лозанне, где Гийом Фабриций из Хильдена должен был так достойно закрыть шестнадцатый век. Северная Германия пробуждалась в то же время от долгого сна. Университеты Лейпцига, Ингольштадта, Виттенберга преподавали

анатомию, как и Хирургию; но они все еще сильно отставали от великих итальянских школ, где сияли последовательно хирурги-анатомы, Алессандро Акиллини, Кампани, Цезальпино, д'Инграссия, Фаллопий, Евстахий и т.д., имена столь дорогие науке и оставшиеся до наших дней неотделимыми от их открытий. В Испании, Португалии Саламанка, Алькала-де-Энарес, Толедо, Валенсия, Коимбра рождались к серьезным занятиям. Движение становилось всеобщим. Лишь невежество и суеверие могли его сдерживать.

То были тогда слабые препятствия для Франции, где видели короля, Франциска I, становящегося сам во главе хирургического прогресса, призывая из Тосканы знаменитого Гвидо (Видус-Видиус), создавая ему кафедру, соперничающую с кафедрами Факультета; для Франции, где Канап в Лионе, Амбруаз Паре в Париже популяризировали науку, поручив своей материнской языку распространять ее; для Франции, чьи Университеты порождали людей, звавшихся Везалий, Гюнтер из Андернаха, Жубер, Раншен, Фернель, Сильвий и т.д., и чье цирюльничество только что выросло до огромной высоты, до высоты Амбруаза Паре.

Выходец из самой убогой лавчонки площади Сен-Мишель, Амбруаз за несколько лет увидел открывающимися перед ним двери Лувра; он революционизировал Хирургию своим гением и изменил положение цирюльников своим влиянием. Братство Сен-Кома, возведенное в звание коллегии, стало добиваться агрегации Амбруаза, который воссел посреди этих мастеров в длинных одеждах, вынужденных присоединять тех, кому они отчаялись равняться. Почти вся французская Хирургия шестнадцатого века сосредоточивается в личности Амбруаза Паре, как испанская Хирургия – в Франсиско де Арсе. Паре внес в нее важные реформы, в частности, для лечения огнестрельных ран; он собрал в одно тело сочинения хирургические познания своей эпохи, разъясненные с помощью своего опыта и своих анатомических навыков. В 1590 году, когда Амбруаз Паре сошел в могилу, Абиико и Гийомо не унаследовали более его творческой оригинальности, чем Агерро не унаследовал поразительного искусства Франсиско де Арсе. Лишь Италия достойно поддерживала свою вновь завоеванную хирургическую славу.

ФАРМАЦИЯ

Если мы захотим проследить историю Фармации с начала Средних веков, мы нигде не найдем ее в социальной организации Европы. Это не было ремеслом, это не было искусством; это было еще меньше наукой. Некоторые воспоминания, некоторые традиции служили ей титулами; монастыри, священники, хирурги, цирюльники, повитухи, хозяйки давали ей приют. Кочевая, вместе со специалистами, она меняла характер и облик в зависимости от того, запрягал ли ее в свою колесницу еврейский врач, араб, грек или христианин из Европы. Она действовала инстинктивно, не зная коренных слов своего детского языка, презирала книги, которых больше не понимала. Плиний, Гален, Диоскорид покоились неведомыми в глубине монастырских библиотек. Некоторые рецепты, почти всегда неверно истолкованные или плохо скопированные, служили кодексом. Кроме того, каждый монастырь, каждый служитель Эскулапа имел свой бальзам, свой пластырь, свою мазь. Сколько аббатств, сколько монахов, сколько повитух обязаны были своим состоянием и медицинской репутацией изготовлению часто очень простого лекарства! Эта благосклонность к секретным средствам была настолько велика, что она прошла сквозь цивилизацию, не поколебавшись, и сегодня в деревнях, в городах, несмотря на прогресс химии, несмотря на широко распространенное образование, мы все еще видим самых разумных, самых высокопоставленных людей, объявляющих себя апостолами оккультной Фармации Средневековья.

Когда угас род Мерovingских королей, король плебейского происхождения, государь без короны, но не без армии, король Мерсье (торговцев) царствовал в Париже: его подданными были промышленники и торговцы. Среди последних в очень малом числе фигурировали бакалейщики и травники или аптекари-дрогисты, которых объединяла природа продаваемых ими веществ и которые до 1776 года в полицейских регламентах составляли одно целое с аптекарями. За королем Мерсье было исключительное право выдавать свидетельства об обучении и патент на звание мастера, инспектировать лавки, проверять веса. Ему платили очень щедро, но он сам был обязан платить подати королевской казне. Это состояние длилось несколько веков, в течение которых организовывались братства свечников, перечников или бакалейщиков, травников, дрогистов или аптекарей, смешанных под государственным уровнем короля Мерсье почти для всей Франции и под скипетром короля ремесел для свободных городов, где преобладал демократический элемент.

Завернутая таким образом в пеленки долгого детства, французская и германская Фармация ждала прихода света. Она просила его у госпитальеров, столь искусных в исцелении своими заклинаниями, зельями, словами, травами и минеральными порошками, *conjuratiombus, potionibus, verbis, herbis et lapidibus*; она просила его у святых женщин, таких как Хильдегарда, которые вели записи своих рецептов и закладывали основы местной медицины. К несчастью, царило слишком много волнений, слишком много неопределенности, слишком всеобщее недоумование, чтобы милосердие, столь часто изобретательное, само по себе оплодотворило невозделанную область Фармации.

Эта дочь Эскулапа нашла убежище у мавров. Там она жила счастливой, почитаемой, используя продукты Европы и Африки и преступая границы, установленные для нее древними греками. Ибн-Серапион в своих «Формулах», Табит-ибн-Курра и Абен-Кефит в своих терапевтических правилах, Разес в своем «Антидотарии» показывают определенное искусство в обращении, методичное использование минеральных препаратов, неизвестных до них, и систему лечения, иногда логичную и научную. В десятом веке Али, сын Аббаса, написал свой «Аль-Малаки» – шедевр восточной эрудиции, свод всего, что арабы и персы добавили к открытиям древней Эллады; произведение, в тысячу раз более предпочтительное, чем знаменитый «Канон» Авиценны, который, тем не менее, заставил забыть его. «Аль-Малаки» точно опре-

делял состояние фармацевтического искусства и его реальные ресурсы. Авиценна добавил к нему кое-что; но он так смешал вещества между собой, так изменил номенклатуру, что в этом необъятном океане блуждали без компаса. Ему пришла в голову идея серебрить, золотить пилюли. Эти пилюли, несмотря на свою незначительность, имели безумный успех; и с тех пор аптекари, без сомнения, поняли, что в медицине, как и во всем, нужно пленять глаза, чтобы сделать разум послушным.

Труды Серапиона Младшего, Месуэ, Альбукасиса, Авензоара свидетельствуют о некоторых фармацевтических успехах; некоторые вещества, такие как миробаланы, мускатный орех, ревень, саркоколла, открыты или лучше изучены; экстракты готовятся более правильно; различают слабительные и послабляющие; такова даже цена, которую Авензоар придает хорошим магистральным препаратам, что он уверяет, будто готовил их собственными руками, несмотря на презрительную сдержанность, которую проявляли врачи в столь полезной практике.

Оставим монахов, переписчиков и легковерных, влачащихся три века вслед за Бертольдом, аббатом Монте-Кассино, который завещал им множество рецептов; перешагнем через эпоху Гарио-Понтусов, Альбрициев, Константина, практиков скорее, чем натуралистов: когда наступает двенадцатый век, остановимся при дворе этого императора-натуралиста и философа, который организовал искусство врачевания и поднял достоинство Фармации, сделав для нее законом быть честной. При императоре Фридрихе II, короле Неаполя, каждый аптекарь или дрогоист проходил пробный экзамен перед назначенными врачами, которые разрешали или запрещали ему открывать аптеку. Никто не мог обосноваться иначе как в многолюдных городах, чтобы лучше подвергаться контролю властей. При отсутствии врачей или присяжных аптекарей-мастеров два уважаемых лица присутствовали при составлении электуариев, антидотов, даже сиропов; инспектировали аптеки и отчитывались о продажах. Следовали «Антидотарию» Салернской школы; назначали цену лекарств: на те, потребление которых должно было произойти в течение года, аптекаря разрешалось получать чистую прибыль в три тарени за унцию, около пяти франков по нашей монете; на лекарства, которые можно было хранить дольше, аптекарь имел право удвоить эту прибыль. В случае нарушения у торговца конфисковывали имущество, а присяжные инспекторы, его сообщники, подвергались смертной казни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.